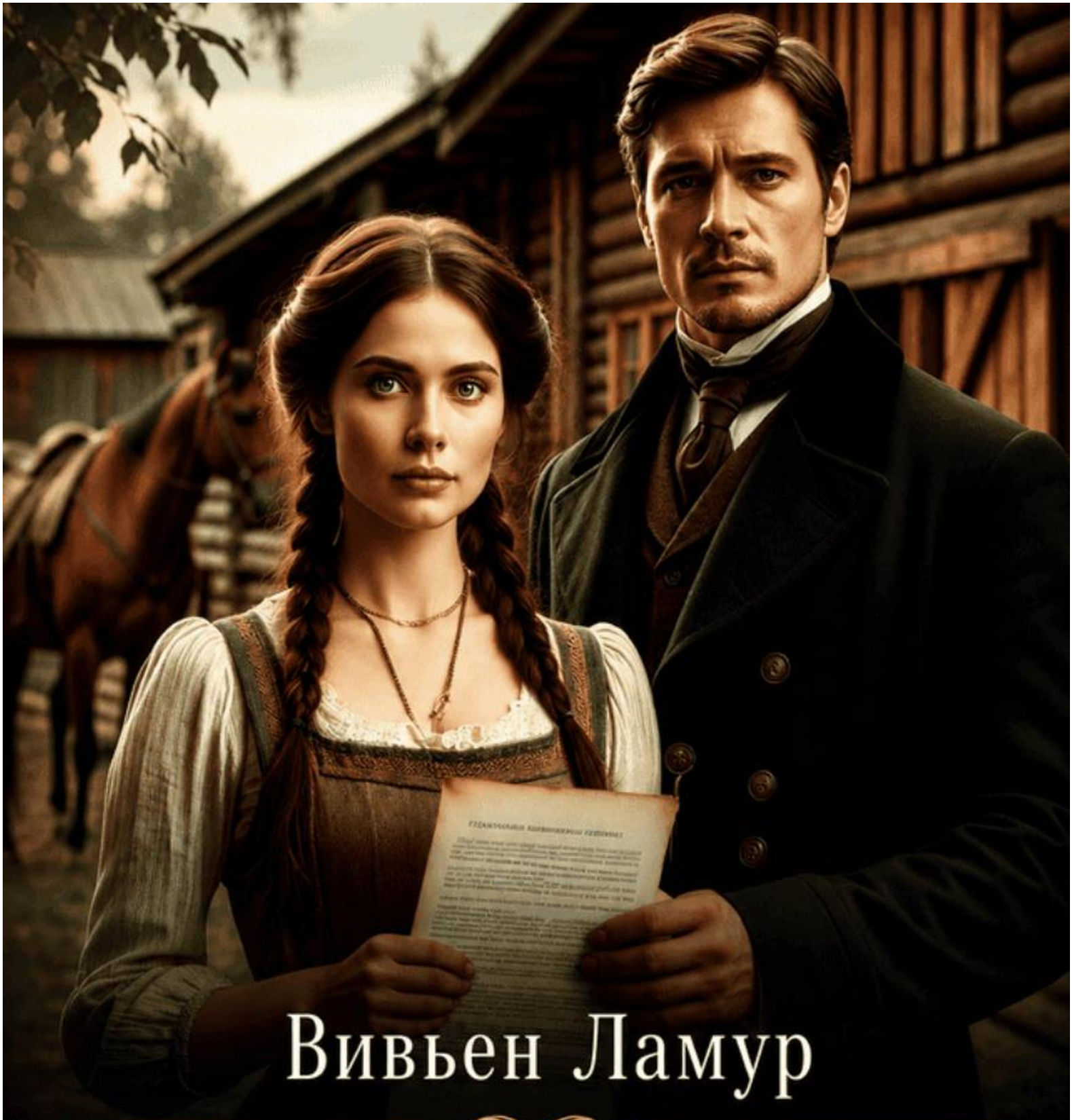

Вивьен Ламур

ХОЗЯЙКА ТРАКТИРА "СТАРЫЙ ЯМ"

Вивьен Ламур

Хозяйка трактира "Старый Ям"

«Автор»
2026

Ламур В.

Хозяйка трактира "Старый Ям" / В. Ламур — «Автор», 2026

Из двадцать первого века — в девятнадцатый. С дачного дивана — на глиняный пол трактира. Я была пенсионеркой, чья главная битва — с сорняками на даче. А проснулась молодой вдовой в дореволюционной России, с двумя детьми и долгом, который грозит отнять последнее — наш трактир «Старый Ям». Купец-рейдер думает, что имеет дело с беспомощной женщиной. Пусть попробует отобрать его у бывшего главного бухгалтера, которая знает, как сводить дебет с кредитом, находить слабые места в контрактах и готовить так, что гости будут сворачивать к нам с тракта специально. Война за наш дом объявлена. Посмотрим, у кого баланс будет в плюсе. И никто не отнимет у меня мой новый, старый, единственный мир.

© Ламур В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Мария или Евгения? 5
Глава 2. Мой новый, старый, единственный мир 8
Глава 3. Инвентаризация памяти 13
Глава 4. Первый рассвет. Тактика и мобилизация 18
Глава 5. Неучтенный актив 24
Глава 6. Ключ и шанс 26
Глава 7. Постоялец в темном пальто 28
Глава 8. Глаза и уши на тракте 32
Глава 9. Хит дня и ночные гости 37
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Вивьен Ламур
Хозяйка трактира "Старый Ям"

Глава 1. Мария или Евгения?

— Мама... Мама, проснись! Пожалуйста...

Сквозь шум в ушах доносился детский голосок. Так похож на моего сына. Но только в детстве. Сейчас Дима уже взрослый, солидный мужчина. Семья, дети. Мои внуки. А этот голосок... Я спала? Но нет... Это было слишком реально.

Теплые маленькие ладошки прижимались к моим щекам. Теребили их, сгоняя остатки сна или что это было? И голос, зовущий так жалобно:

— Мамочка...

Глубокий вдох. В ноздри врывался неприятный запах кислой капусты, жареного лука и чего-то еще... конского навоза? Земли?

Ладошки исчезли. Медленно открыла глаза. И увидела над собой деревянную потолочную балку, почерневшую от времени. Под спиной жесткий, колючий настил. Что-то больно упиралось в бок: камень, сучок.

— Она жива? — откуда-то сбоку донесся еще один писклявый, всхлипывающий голосок. — Алеша, мамочка жива?

— Да, Танюшка, — ответил тот, первый. Уверенный, но напряженный. — Злой дядя ушел. Все хорошо. Мам, давай. Вставай!

Надо мной склонился мальчишка лет семи. Серьезные серые глаза, испуганные и в то же время полные какой-то взрослой решимости. Лицо бледное, в веснушках. Он тянул меня за рукав.

Я попыталась сесть. Мир плыл, в висках стучало. Откуда эти дети? Откуда это страшненькое помещение с глиняным полом, заваленное ящиками и мешками? Сквозь открытые двустворчатые двери бил слепящий солнечный свет, выхватывая из полумрака клубы пыли.

— Мария Петровна! Господи помилуй!

В проеме, затмевая свет, появилась фигурка. Небольшого роста, вертлявая, как птичка. Рыжеватые волосы выбивались из-под пестрого платка, быстрые карие глаза с испугом бегали по мне. Руки, красные от работы, вскинулись к щекам.

— Ну как же так, Мария Петровна! Упали? Ушиблись? Или это Рогожин вас так… — она сквозь зубы выругалась, негромко, но с такой яростью, что даже я, в своем полуобморочном состоянии, уловила смысл. — Ох, чтоб ему пусто было!

Девушка — Груня, промелькнуло у меня в голове со странной уверенностью — бросилась ко мне, ловко подхватила под локоть. Ее прикосновение было твердым и привычным.

— Давайте, давайте, хозяйка, поднимемся. Иван на реке, ловит… А тут такое…

Она помогла мне встать. Ноги подкосились, мир описал дугу. Боль тупо пульсировала в затылке. Я инстинктивно потянулась к тому месту, где гудело. Волосы были влажными и липкими. Отдернула руку и застыла.

На ладони — алая, живая кровь. Но не ее вид поразил.

Это были не мои руки.

Не мои.

Там, где должны были быть возрастные пятна и набрякшие вены, лежала гладкая, хоть и грубоватая кожа. Коротко остриженные, но чистые ногти. Рабочие руки. Молодые руки.

Я перевела шокированный взгляд на свое платье. Темная, поношенная юбка, грубая кофта, поверх — запачканный фартук. Все было чужое, грубое, пахнущее дымом и тем самым луком.

— Мария Петровна? — Груня пристально смотрела на меня. — Голова-то кружится? Может, присесть?

Мария Петровна.

Почему она называет меня этим именем? Я Соколова Евгения Сергеевна. Пенсионерка. Я была на своей даче и только что говорила с сыном по телефону…

Глубокий вдох. Задержка. Сквозь нарастающий внутренний вой в ушах ясно доносился плач девочки, той самой Танюшки. Мой взгляд упал на нее. Хрупкая, светловолосая, с размазанными по лицу грязными слезами. А рядом — Алеша. Он не плакал. Он смотрел. Смотрел на меня с такой смесью надежды, страха и… подозрения. Будто чувствовал, что мама — это не совсем мама.

Выдох.

Я умерла?

Мысль пронеслась ледяной иглой. Упала на даче? Сердце? Тот вихрь из листьев за окном, ослепительная вспышка молнии… А потом — удар.

Реинкарнация? Куда? В прошлое? О господи…

Груня все причитала, осторожно раздвигала волосы на моем затылке.

— Ой, ой, расквасила… Надо ключевой водичкой промыть, тряпицу приложить… Это он, Рогожин-гад, поди? Толкнул?

Ее слова, как ключ, сорвали замок с какой-то темной кладовой памяти. Не моей. Чужой. Теплой, но забитой болью и страхом.

Перед внутренним взором встало лицо. Широкое, скуластое, обветренное. Нос картошкой. И глаза — маленькие, свиные, ярко-голубые, но холодные, как лед в проруби. Он хватал меня за руку, его пальцы, волосатые и короткие, впивались в кожу. Дышал перегаром и злобой.

«Не упрямься, Машка… Долг платежом красен, а твое лицом…»

Я… нет, она вырвалась. Чем-то блеснула… ногтями! Провела по его щеке. Он взвыл, не от боли, а от ярости, что такая посмела. Сильный, грузный толчок в грудь. Невесомость. Удар затылком. Тьма.

А из тьмы выплыл другой голос. Мужской. Ласковый, усталый. Последние слова, шепот на прощание: «Не отдам вас ему… ни за что…»

Михаил. Муж. Покойный муж.

Ой, мамочки…

В моей голове, в один миг ставшей тесной и переполненной, столкнулись два потока. Один — четкий, структурированный: цифры баланса, запах кофе в офисе, голос Димы в трубке, уют дивана на даче. Другой — хаотичный, эмоциональный, плотский: страх перед купцом, ноющая тоска по широкоплечему мужу с добрыми глазами, мышечная память о том, как месить тесто, доить корову, убаюкивать этих вот, плачущих здесь, детей.

— Ничего, ничего, — услышала я свой голос. Он звучал чужим — более молодым, низковатым, осипшим от крика или слез. — Живая я, Груня. Не ори ты так, Танюшу напугала.

Я сама себе удивилась. Эти слова, этот тон — они вышли сами, из глубины того, другого, потока. Из памяти тела, которое теперь было моим.

Сделала шаг. Еще один. Подошла к девочке, которая тут же вцепилась в мой запачканный фартук, уткнулась лицом в складки. Я машинально, движением, отточенным тысячу раз, погладила ее по голове. Рука сама знала, как это делать.

Потом подняла взгляд на Алешу.

— Алеша, — сказала я тихо. Имя само сорвалось с губ. — Что он сказал? Рогожин.

Мальчик выпрямился, сглотнул. В его серых, моих… нет, ее… глазах засверкала та же решимость, что и в голосе.

— Сказал, что через месяц придет. Заберет все. И нас… на завод отдаст, если не отдадим долг. А ты… ты ему сказала, что не отдашь. Ни двор, ни нас. Он и рассвирепел.

Месяц. Долг. Завод. Земля. Конюшни. Огород.

Информация обрушивалась, как обвал. Но странное дело — паники уже не было. Был шок, да. Непонимание. Ужас. Но где-то в глубине, под этим всем, тихо включился холодный, аналитический механизм. Тот самый, что годами сводил дебет с кредитом и помогал сыну раскладывать по полочкам запутанные дела.

Бухгалтерия,— подумала я, Евгения. — *Просрочка. Взыскание залога. Активы. Пассивы.*

А тело Марии, сжимая в объятиях дрожащую Танюшу, чувствовало лишь жгучую, животную ненависть к человеку с ледяными глазами и горькую, сосущую тоску по мужниной защите.

— Ладно, — снова сказал мой чужой голос. Он звучал уже тверже. — Разберемся. Груня, помоги дойти до дома.

Я посмотрела на свои молодые, сильные, чужие руки. На заплаканное лицо дочери. На напряженное лицо сына.

Я умерла. Или сошла с ума. Или случилось чудо, которое было похоже на проклятие.

Глава 2. Мой новый, старый, единственный мир

Удар в затылке был несильным, но мир все равно покачивался, будто палуба. Я шла, опираясь на плечо Груни, и старалась не смотреть под ноги, а смотреть вокруг. Инвентаризация началась с первой же секунды, как я переступила порог сарая.

Двор открылся передо мной во всей своей печальной, но обещающей красоте.

Память Марии услужливо подсказывала названия: главный дом, конюшня, амбар, погреб с наружной дверью, банька в дальнем углу за садом. А взгляд Евгении – бывшего бухгалтера и по совместительству мамы оперуполномоченного Дмитрия Соколова – холодно оценивал активы.

Активы были потрепанными, но с костяком. Двухэтажный сруб, когда-то, должно быть, внушительный, теперь потемнел от дождей и времени, ставни на втором этаже покосились. Крыльцо просело. Но фундамент добротный, из дикого камня.

«Капитальный ремонт не нужен, косметический и укрепление», – пронеслось в голове с холодной, профессиональной четкостью.

Конюшня – длинная, низкая постройка, на добрый десяток стойл. Рядом – колодец-журавель с ведром. С него капала вода, образуя темное влажное пятно на утоптанной земле. Все было прочным, сделано на совесть, но с налетом запустения и безнадеги. Как перспективный бизнес, доведенный плохим управлением до грани банкротства.

И только огород, отгороженный невысоким, но аккуратным плетнем, лучился яркой, наглой, по-майски живой зеленью. Контраст был оглушительным. В сознании, еще хранящем воспоминания о сырой, темной дачной осени, о пустых, убранных грядках, эта буйная растительность казалась почти кощунственной.

Там бушевало что-то пестрое и съедобное: кустики с перьями лука, кружево укропа, темные розетки щавеля, нежные листики какого-то салата. Я остановилась, на секунду забыв про боль и головокружение.

— Щавель уже пошел, — машинально сказала я, и это опять был голос Марии, знающий каждую бороздку. — И редиска пушится… к столу скоро будет.

— Ага, — оживилась Груня, поддерживая меня под локоть. — Ульяна Потаповна вчера говорила, на окрошку самое то. Только народ нынче бедный пошел, на окрошку скупятся, щи да кашу просят, экономят.

Окрошка. Народ. Выручка. Себестоимость. Мысли закрутились, пытаясь построить первую финансовую модель в этом новом-старом мире, но их оборвала резкая волна тошноты. Я прислонилась лбом к прохладному косяку двери главного дома.

Внутри пахло иначе, сложнее: прохладой толстых бревен, вареной картошкой, тмином и чем-то кисловато-молочным, словно простоквашей. Трапезная — просторная, низкопотолочная комната с массивными лавками вдоль стен и большими столами, покрытыми хоть и потертыми, но чистыми скатертями — была почти пуста. Только в самом углу, в прохладной тени у массивной, давно не топившейся печи, сидел, склонившись над глиняной миской, коренастый мужик в потной, запыленной косоворотке. Он на нас не взглянул, полностью поглощенный неторопливым, методичным поглощением похлебки. Его присутствие было каким-то обнадеживающе-обыденным: жизнь здесь текла, клиент был. Маленький, но был.

Из-за двери напротив, откуда лился сухой жар и слышалось металлическое позвякивание посуды, появилась женщина. Крупная, солидная, как хорошо выпеченный, румяный каравай. Круглое лицо, повязанное белым, накрахмаленным платком, и властные, быстрые глаза, которые мигом все оценили. Ульяна Потаповна.

Ее взгляд – тяжелый, налитый знанием и усталостью – скользнул по моей фигуре, задержался на растрепанных волосах, на соломинке, прилипшей к запачканному подолу юбки, на

бледности лица. Никакого испуга, никакой бурной жалости. Губы сжались в тонкую, неодобрительную ниточку. В ее молчании, в этом одном взгляде, читалось все: и раздражение, и глубокое презрение к этой житейской суете, и леденящий страх за свое место у печи, которое было для нее целым миром.

— Дожились, — бросила она не мне, а в пространство, словно констатируя погодный факт или давно ожидаемый итог. – Хозяйку по дворам волочить. Позор на весь уезд, — и, повернувшись на каблуках своих стоптанных башмаков, скрылась обратно на кухню, громко, с вызовом хлопнув чугунной заслонкой печи.

– Не обращайте внимания, Мария Петровна, – зашептала Груня, почти вталкивая меня в узкий, темный коридорчик, ведущий вглубь дома. – Она сама не своя со вчерашнего дня. Рогожин ее через приказчика стращал, на свой кожевенный в судомойки звал… Она боится, очень боится…

Мы прошли в маленькую, очень теплую и уютно захламленную комнатку рядом с кухней: очевидно, тут и была келья самой Ульяны. Груня усадила меня на скрипящий табурет, ловко чиркнула огнивом, зажгла в жестяном светце-подставке лучину, и принялась хлопотать. Ее движения были быстрыми, не суетливыми, а привычно-деловыми.

Пока она сновала к сеням за тазом и чистой ветошью, память Марии, будто сквозь густой туман похмелья, начала подкидывать обрывки.

Аграфена. Груня. Не просто служанка или работница. Жена Ивана, брата покойного Михаила. Сестра, хоть и не по крови. Молодая, бойкая, говорливая, вечно на взводе, как птичка-непоседа. Руки ее, красные от щелока, холодной воды и вечной возни с мокрым бельем, знали каждую пылинку в доме, каждый угол.

Если бы не Груня с ее неиссякаемой, немного суетливой энергией, одной Марии никогда бы не управиться с бесконечной уборкой, стиркой, присмотром за детьми, когда та была занята на кухне или во дворе. Это была не прислуга, а плоть от плоти семьи Беляевых, ее тыловой штаб, пусть и со своим, огненным и болтливым характером.

– Ну, Мария Петровна, наклоняйтесь, не бойтесь, – бормотала она, уже поднося мокрую, холодную тряпицу к моей голове. Ее пальцы уверенно раздвинули волосы. – Щипать будет, знаю, но зато чисто. А то эта рана, не дай Бог, загноится, тогда пиши пропало…

Ледяная вода и острая, очищающая боль наконец-то приковали мое сознание к телу с жестокой, неоспоримой очевидностью. Я вжалась в плечи, и тут же, сквозь боль, пришло четкое, почти осязаемое воспоминание: так же, вот так же, в прошлую лютую зиму, Груня дни и ночи отпаивала меня отчаянным малиновым взваром и растирала скипидаром, когда я свалилась с воспалением после того, как вытаскивала в метель новорожденного теленка. Ее заботливое, но твердое ворчание, ее неотступное присутствие тогда были единственной нитью, связывающей с жизнью…

Реальность встала на свои, чудовищные, незыблемые основания.

Я не спала. Это был не бред. Мое родное тело лежало где-то там, в двадцать первом веке, на полу дачной кухни. А я… я была здесь. Вколочена, как гвоздь, в чужую судьбу.

Дима… Тоска пронзила, острая, физическая, разрывающая грудину. Мой мальчик. Он найдет меня. Вся его выучка, все его методики, его холодный аналитический ум… и он будет бессилен. Он будет искать причину, опрашивать соседей, строить версии, а причина – здесь, в этой дикости.

Слезы подступили к горлу, едким, горячим комом. Я зажмурилась, впиваясь ногтями в колени, пытаясь сдержать рыдание. Плакать – нельзя. Это было все, чего я могла себе позволить: тихая, внутренняя истерика, пока чужие, но такие родные руки убирали с моей головы следы чужой, но моей драки.

Но вдруг, словно от того же ледяного прикосновения тряпицы, мысли встали как вкопанные.

Стоп.

Если я здесь… в этом времени… то Димы еще… нет.

Его просто нет на свете.

И меня – той, Евгении Сергеевны Соколовой – тоже еще не существует. Все, что было моей жизнью, моими победами, страхами, любовью, моим сыном и внуками – все это в будущем. Оно еще не случилось. Мой сын в безопасности. Он не осиротел. Он… он даже не родился.

От этой мысли не стало легче. Стало… пусто. Будто из-под ног выдернули не только почву, но и само время. Я повисла в какой-то чудовищной, безвоздушной пустоте между «было» и «будет».

Но в этой пустоте, медленно, как проступающая на бумаге тайнопись, проступила странная, островковая ясность. Там, в том будущем, о котором я знала все, мой сын был вне опасности. Его жизнь, ее течение и ее итоги были уже предопределены и меня не касались.

А здесь, в этом тесном, пропахшем дымом и кислой капустой помещении, была война. Их война. Двора. Этих двоих испуганных детей, ждущих меня. Теперь и моя война. Единственная, которая у меня осталась.

Я сделала глубокий, прерывистый вдох. Запах сырости, печного жара, полыни и собственных волос, пахнущих теперь колодезной водой и железом крови, заполнил легкие. Реальность обрела четкие, жесткие, непреложные границы. Прошлое стало далеким будущим. Недосягаемой, почти мифической страной.

— Ничего, заживет, – проворчала Груня, отжимая розовую от крови тряпицу в таз. — Ссадина знатная, но кость цела. Повезло, Мария Петровна. Могло и хуже быть.

— Повезло, — эхом, сипло повторила я. И впервые за все это время в моем голосе не дрожали слезы и истерика. Была лишь усталая, холодная констатация. Да. Повезло. Потому что теперь мне было за что бороться здесь и сейчас. Не за призрачное прошлое, а за это хлипкое, пропахшее навозом и хлебом, но единственное настоящее.

Мне помогли подняться – ноги слушались уже лучше – и повели по темной, крутой, скрипучей лестнице на второй этаж. Память подсказывала каждую знакомую ступеньку, каждый поворот. Длинный, слабо освещенный оконцем в конце коридор с несколькими низкими дверями. Моя – последняя справа.

Комната. Не моя. Ее. Наша. Простая железная кровать, застеленная домотканым покрывалом, с лоскутным одеялом, сшитым рукой Марии. И вспышка памяти: долгие зимние вечера при свете лучины, мелкий стежок.

Массивный дубовый сундук у стены. Небольшой комод с вытершейся, но вышитой салфеткой. На стене – икона, перед ней теплилась, отражаясь в темном стекле, тонкая лампадка. И детские следы, разбросанные, как вехи: на полу – грубо вырезанная, но старательно раскрашенная деревянная лошадка, на подоконнике – тряпичная кукла с вышитыми черными нитками глазками и растрепанными льняными волосами.

Груня, бормоча про то, что надо бы дать мне отдохнуть, что она сбегает за детьми и накормит их, выскользнула, прикрыв за собой дверь с тихим щелчком.

Тишина обрушилась на меня, густая, звенящая. Я стояла посреди этой чужой-родной жизни, и дрожь наконец-то начала отпускать.

Я подошла к комоду. Руки, чужие и в то же время до жути знакомые, сами потянулись к верхнему ящику, отворили его без скрипа. Сложенная стопкой, чистая, выстиранная и заштопанная в нескольких местах домотканая рубаха. Темная, добротного сукна юбка. Простой, но крепкий холщовый корсет. Все это пахло сухими травами – полынью, мятой – и тем неповторимым сухим теплом, что исходит от печи, на которой вещи сушились.

Я стала раздеваться. Медленно снимая слой за слоем свидетельства чужой битвы. Грубая шерстяная кофта, запачканный землей и соломой фартук, тяжелая юбка… Все это падало на пол мягким, бесформенным ковром из чужой, оборванной жизни.

Я осталась стоять в простой, длинной нижней рубахе из грубого льна, и холодок от сквозняка пробежал по моей коже, заставив покрыться мурашками. Но скинула и ее.

Кожа. Я посмотрела на свои руки, вытянула их перед собой. Ровная, упругая кожа. Ладони с трудными, но не уродливыми мозолями. Живот плоский, без знакомых, родных растяжек и того мягкого валика, что набрался за годы сидячей работы и безудержной любви к пасте. Бедра упругие, сильные, без следов целлюлита.

Я повернулась и подошла к маленькому овальному зеркалу в потемневшей деревянной раме, висевшему над комодом. Оно было мутноватым, с едва заметной волнистостью, словно старый пруд, но отражение в нем было ясным и неоспоримым.

Мария Петровна Беляева. Двадцать пять лет. Лицо… не красавица, но милое, правильное, с широкими скулами, прямым носом, плотно сжатыми, бледными губами. И глаза… Большие, серо-голубые, как мокрый речной камень. В них сейчас читался весь шок, все дикое недоумение, весь зарождающийся ужас. Но под этим слоем паники что-то еще. Что-то твердое, инородное.

Острый, оценивающий, аналитический блеск, который никак не мог принадлежать покорной вдове. Это был мой взгляд. Взгляд Евгении Сергеевны, которая за свою жизнь научилась не только сводить балансы, но и читать между строк уголовные дела, помогая сыну, и находить выход из, казалось бы, безвыходных бытовых ситуаций.

Я медленно, почти с благоговением, провела пальцами по своему – своему! – лицу, по гладкой коже, по высокой линии скул. Потом взяла с комода простую деревянную гребенку с тупыми зубьями.

И тут случилось чудо. Руки помнили. Пальцы сами, без участия моего растерянного сознания, разделили густые, русые, пахнущие дымом и кровью волосы на три пряди, сами начали заплетать тугую, привычную, неброскую косу.

Я смотрела в широкие, испуганные глаза отражения, и отражение смотрело на меня. В зрачках мелькали отблески лампадки, как два крошечных, дрожащих огонька. Два сознания в одной голове. Память тела, теплая, живая, полная боли и любви. И воля чужого разума, холодная, целеустремленная, полная расчета.

«Я здесь, – окончательно, с капитуляцией, поняла я. – И я не одна. Во мне есть она. Ее любовь к этим стенам, к этим детям. Ее страх. Ее усталость. И в ней есть я. Мой опыт. Мой расчет. И память о моем сыне, который там, в будущем, учил меня, как думает преступник, как ищут слабые места».

Я туго завязала конец косы простой тесемкой, аккуратно убрала волосы набок, чтобы не задеть болезненную рану на затылке. Надела чистую рубаху, юбку, натянула корсет, ловко застегнув крючки сзади: пальцы сделали это сами. Все сидело как влитое, не жало, не топорщилось. Это было мое обмундирование. Моя новая, единственно возможная форма.

Я открыла дверь. Внизу, в трапезной, было тихо: мужик доел свою похлебку и, видимо, ушел. Я спустилась, держась за перила, но уже твердо.

Дети сидели на той же лавке у окна, прижавшись друг к другу, как два птенца в гнезде. Алеша что-то негромко, по-своему нашептывал Танюше, та кивала, всхлипывая и вытирая кулачками щеки. Увидев меня – уже прибранную, подтянутую, со сверкающей на плече тугой косой, – они замолчали. Взгляды их были разными: мальчика – настороженным, оценивающим, изучающим; девочки – с бездонной, животной надеждой и обидой.

Я подошла. Не спеша. Наклонилась и поцеловала Алешу в макушку, в его непослушные вихры. Он вздрогнул всем телом, но не отпрянул, замер. Потом я наклонилась к Танюше, взяла ее – такую легкую, почти невесомую, как пух – на руки. Она тут же обвила мою шею тонкими,

цепкими ручками, уткнулась мокрым от слез и сопелок лицом в вырез рубахи на плече, и все ее маленькое тело затряслось в беззвучных рыданиях. Я прижала ее к себе, вдохнула этот детский, чистый запах: молока, травы, теплой кожи и беззащитной печали.

— Все, — сказала я тихо, но так, чтобы слышали оба. Голос звучал еще непривычно, чужим тембром, но в нем уже не было дрожи. В нем звенели отголоски и покорной Марии, и твердой Евгении, сплавившиеся во что-то новое. — Все, мои хорошие. Мама с вами. Кончилось. Больше никаких дядей. Никто вас не заберет. Никогда.

Я поставила Танюшу на пол, но продолжала держать ее маленькую, липкую ладошку в своей. Посмотрела на Алешу. На его сжатые губы, на его серьезные, слишком взрослые глаза.

– А теперь, мой главный помощник и защитник, – сказала я, и в уголках его строгого рта дрогнуло что-то, похожее на сдержанную гордость, на признание. — Проведи мне полную инвентаризацию. Покажи все, что у нас есть. Каждый мешок муки в амбаре, каждую горсть крупы, каждую копейку в доме, каждую лошадиную подкову в конюшне. Мне надо точно знать, с чем мы воюем. Что у нас в арсенале.

Он кивнул, медленно, очень серьезно, по-взрослому. Плечи его распрямились.

– И, Алеша, – добавила я, глядя ему прямо в глаза, устанавливая контакт, заключая союз. – Все, что ты мне скажешь, все, что покажешь – это будет нашей с тобой военной тайной. Самой главной. Понял? Ни Ульяне Потаповне, ни дяде Ивану, пока он не вернется, никому. Только нам с тобой и Танюшей.

Он вдохнул полной грудью, и его детское, испуганное лицо озарилось важностью и таинственностью порученной миссии.

– Понял, – выдохнул он, и его взгляд загорелся решимостью. – Я все знаю. Где что лежит. И сколько.

– Отлично, – я отпустила руку Танюши и положила свою руку ему на стриженную голову. – Тогда начинай, полководец. Веди меня.

Война была не просто объявлена. Она началась с первого, самого важного этапа – разведки и учета ресурсов. Пора было досконально изучить поле боя под названием «Старый Ям». Мой новый, старый, единственный мир.

Глава 3. Инвентаризация памяти

Алеша взял мою руку. Его ладонь была маленькой, но твердой, с уже знакомой мозолистостью, как у человека, привыкшего таскать ведра и хворост. Его серьезные глаза горели теперь не страхом, а важностью миссии. Он был моим проводником в этот странный мир, и от его точности зависело многое.

— Ну что, полководец, — сказала я, сжимая его пальцы. Голос звучал странно, но уже не пугал. — Войну выигрывает не тот, у кого кулак больше, а тот, кто свои запасы до зернышка знает. Так что начинай. Что у нас в главной крепости есть?

Он кивнул, расправил плечи и повел меня в амбар.

Там пахло пылью, мышами и старой, застоявшейся мукой. Солнечный луч, пробившийся сквозь щель в досках, выхватывал из полумрака невеселую картину. Вместо ожидаемых аккуратных штабелей три поникших мешка в углу да пара пустых бочек.

Я потрогала один из мешков. Мука внутри была грубая, темная, с отрубями. «Второй сорт. Для своих сойдет, а гостям на пироги не предложишь», — мелькнула мысль Евгении.

И тут же, резко и ярко, пришло воспоминание Марии.

Тот же амбар, но полный до самого потолка. Благостный полумрак, густой запах ржаного хлеба, меда и сушеных грибов. Михаил, мой… ее… муж, легко вскидывает на плечо мешок с отборной мукой. Он оборачивается, и широкое, доброе лицо его расплывается в улыбке.

— На зиму запасемся, Машенька! Хватит и нам, и всем путникам!

Он смеется, и от этого смеха тепло разливается по всему телу. Чувство уверенности. Уюта. Изобилия. Твердая земля под ногами.

Реальность вернулась холодным прикосновением грубой мешковины. Сердце екнуло: не от тоски Евгении по прошлому, а от щемящей боли Марии по своему прошлому.

— А вот тут, мама, наш неприкосновенный запас, — голос Алеши вывел меня из оцепенения. Он ловко залез за балку и вытащил оттуда небольшой, но плотно набитый мешок. — Рыбка сушеная, да мясо вяленое. Тетя Груня прятала. На самый черный день.

Я развязала тесемку. Вдохнула запах: терпкий, соленый, настоящий. «Ликвидный актив», — тут же оценила Евгения.

— Молодец, что знаешь, — похвалила я. — Идем дальше. Покажи мне наших боевых коней.

Конюшня встретила нас знакомым, уже не шокирующим, а почти деловым запахом: навоз, сено, пот, здоровое животное тепло. Но в нем теперь чувствовалась нотка запущенности — пыль на балках, паутина в углу пустого стойла.

В первом стойле, чистясь о косяк, стоял Орлик. Гнедой, крупный, с блестящей, хоть и не вычесанной как следует, шкурой. Увидев нас, он гордо вскинул голову и фыркнул: требовательно и с достоинством. Это был конь, знавший себе цену. Основа всего хозяйства.

— Орлика дядя Иван каждый день чистит, — сказал Алеша. — Говорит, без него мы пропадем.

Рядом, в следующем стойле, Зорька лениво жевала сено. Кобыла постарше, уже не та, что раньше, но костистая, крепкая. Просто вид у нее был какой-то усталый, обвисший, будто и она, как все, сникла после смерти хозяина.

— Зорька все тащит, что тяжко, — пояснил мальчик. — Только не так резва стала.

Алеша повел меня дальше, к последнему стойлу, и тут я увидела настоящую беду. Молодой жеребенок светлой масти стоял, понуро опустив голову. Шерсть его была матовой, свалявв-

шейся, а ребра выпирали так, что сердце сжалось. Подстилка была мокрой и грязной, явно не менянной день или два.

— А это Ветерок, — голос Алеши стал совсем тихим. — Папа купил, говорил – смена Орлику. А потом… потом все как-то…

Он замолчал, сглотнув. Видно было, как ему трудно подбирать слова.

— Папа ушел… а ты, мама, слегла. Совсем. Неделю никуда не вставала. Потом встала, да как будто не ты, а тень. Ходила, смотрела в одну точку. А потом приказчики рогожинские начали ездить, страху нагонять. Потом Ульяна Потаповна чуть не ушла, кричала, что все пропало. А дядя Иван молчит, только топор в руках сжимает да на реке пропадает. А сегодня… — его голос оборвался, и он посмотрел на меня прямым, слишком взрослым взглядом, — сегодня сам Рогожин приехал. И тебя… ударил.

Он глубоко вдохнул, расправив плечики с таким видом, будто взваливал на себя неподъемную ношу.

— Вот и никто ничего не делал. Все боятся. Даже Федька и тот от страха руки опустил. Я думал… я думал, и тебя больше нет. По-настоящему. А потом ты очнулась. И стала… другая. Спрашивать начала. Глазами видеть. Может, если ты все увидишь, точно узнаешь и тогда исправить можно?

Слова его обрушились на меня с такой силой, что я едва устояла на ногах. Не от усталости. От боли — острой, ясной и чужой-родной одновременно. Боль Марии, которая не смогла устоять под этим прессом. Боль Алеши, который остался один перед всей этой бедой. Я медленно опустилась перед ним на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. Взяла его лицо в свои ладони — шершавые, но нежные. Заставила смотреть на себя.

— Слушай меня, Алеша. И запомни раз и навсегда, — голос мой звучал тихо, но так, что, казалось, его услышат даже лошади в стойлах. — Мама вернулась. По-настоящему. И я не позволю больше никому — слышишь? Никому — обижать тебя, Танюшу или наш дом.

Он замер, широко раскрыв глаза. В них, кроме привычной уже взрослой серьезности, промелькнула робкая, детская надежда.

— У нас есть дом, сынок. Не просто дом. У нас есть «Старый Ям». Постоялый двор. Место с историей, которое помнит и дедов, и прадедов. Место, где путники отдыхали, новости слушали, лошадей меняли. Его не просто так на тракте поставили. Свою легенду он имеет и свою силу.

Я пристально смотрела в его серые, мои глаза, вкладывая в каждое слово всю твердость, на которую была способна и Евгения, и собравшая волю в кулак Мария.

— И никто, слышишь, Алеша, никто нас отсюда не выгонит. Ни Рогожин, ни его приказчики, ни сам черт, если он вздумает за них заступиться.

Я отпустила его лицо, но продолжала держать взгляд.

— Но месяц у нас есть. Всего один месяц, чтобы доказать этому купцу, как он ошибался. Чтобы показать всем, кто опустил руки, что «Старый Ям» еще дышит. И что дышать он будет, покуда мы тут, на ногах, стоим. Поможешь мне?

Он кивнул. Не раздумывая. Кивнул так, что непослушный вихор упал ему на лоб. И в этом кивке была не детская покорность, а согласие воина, принявшего приказ.

— Помогу, — выдохнул он. И в этом слове не было ни тени сомнения.

Его кивок, твердый и взрослый, стал для меня последней точкой опоры в этом качающемся мире. Я потрепала его по стриженой макушке — жест, который тело помнило, — и, превозмогая ноющую боль в затылке, поднялась. Теперь, когда мы с ним были заодно, можно было идти дальше.

— Ладно, полководец. Следующую позицию показывай.

Он взял меня за руку и вывел через открытые ворота конюшни на задний двор, туда, где владения «Старого Яма» упирались в густую стену прибрежного леса.

И я увидела.

Не хозяйскую задумку, не планы на будущее. Я увидела незаживающую рану. Несколько вкопанных, уже покосившихся столбов торчали из земли, как обглоданные кости. Рядом груда бревен, почерневших от дождей, покрытых зеленой, склизкой плёнкой гнили. От всего этого места, от этой груды мёртвого дерева, тянуло запахом сырости, плесени и краха.

Я застыла на месте. И в этот миг, будто от этого самого запаха, сознание выхватило из глубин памяти яркий, острый кусок прошлого.

Зима. Искристый, колкий снег хрустит под валенками. Михаил, румяный от мороза и возбуждения, чертит в снегу палкой, объясняет:

— Смотри, Маша! Вот тут, прямо от стены дома, новые сени прирубим! Закрытые, просторные. С печуркой, чтобы зимой тепло было. Кибитки купеческие смогут внутрь заехать, лошадей под крышей распрячь, а люди отогреться, не на ветру ждать.

Глаза у него горят, как у мальчишки, нашедшего клад.

— Деньги? Да возьмем у Рогожина! Он, говорит, дело одобрил, под хороший, но честный процент готов дать. Документ я сам смотрел: все чинно, благородно прописано. Подмахнем и с весны за дело!

А у меня внутри холодный, тревожный комок. Неясный страх.

— Миша, давай не спешить, — шепчу я. — Подождем, сами накопим мало-мальски…

Но он уже меня не слышит, захваченный мечтой о расширении, о будущем достатке. Он обнимает меня, треплет по спине своей большой рукой в варежке.

— Пойми, Машенька! Сейчас купец к городу подъезжает и проедет мимо нас, в городскую гостиницу, коли у нас сеней теплых нет и коней сменить негде с комфортом. А мы построим и все поезда наши будут! Все перед самым городом к нам сворачивать станут, чтоб с утра пораньше, отдохнувшими, по делам въезжать! Место-то у нас какое: последний ям перед городом, на самом виду!

Картинка погасла так же резко, как и вспыхнула. Оставив во рту горький привкус отчаяния Марии, которую тогда не послушали, и холодной ярости Евгении, уже видевшей в этом «чинном документе» развод за версту.

— Бревна, — тихо сказал рядом Алеша. — Папа потом ругался… Говорил, они ему сырые подсунули, с гнилью внутри. А тот мужик, что продал, потом как сквозь землю провалился.

— Понятно, — ответила я, и голос прозвучал ровно и холодно, как лед на проруби. — Очень понятно.

Долг. Грабительские проценты, спрятанные в «честном» документе. Негодные материалы от исчезнувшего поставщика. Проваленный проект. Смерть доверчивого хозяина. И готовый прибрать к рукам лакомый кусок земли на тракте хищник. Схема выстраивалась в голове сама, четкая, как в уголовном деле, которое я когда-то помогала разбирать Диме.

«Стандартная схема рейдерского захвата, — подумала я с горьким сарказмом. — Только веком раньше».

От гнилых бревен тянуло сыростью и безнадегой. Я отвела взгляд, ища чего-то живого, и увидела вдали блеск воды.

— Туда, — сказала я Алеше. — К реке.

Широкая, неторопливая, она блестела на майском солнце, как расплавленное серебро. У самого берега, на скрюченном табурете, сидел мужчина и чинил сеть. Его движения были медленными, точными, неспешными: каждое действие обдуманно и лишено суеты. Иван. Брат Михаила.

Он услышал наши шаги, поднял голову. Его лицо не выразило ничего. Только глаза, такого же серого, как у Алеши, цвета, скользнули по мне оценивающе и быстро. Вся его речь, как я уже вспомнила, обычно сводилась к «ага», «нет», «щас» и дельному замечанию раз в полдня. Молчаливый утес.

— Мария Петровна. Отошла? — его голос был глуховатым.

— Отошла, Иван, — кивнула я. — Улов есть?

Он мотнул головой на небольшое ведро, где плескалось с десяток мелких карасей.

— На уху хватит. На продажу негусто.

Ничего лишнего. Ни вопроса, ни упрека, ни жалобы. Просто констатация факта. Его присутствие было каменным, нерушимым. Сердце и мышцы двора, как верно подсказывала память. Он не бросит. Он здесь, на своем посту: у реки, у сетей, у тяжелой работы. Он – последний бастион.

И снова, будто от мокрого запаха реки и тихого шороха сетей, всплыло воспоминание. Уже после похорон. Этот же Иван, но с лицом, искаженным немой яростью, сжимает кулаки так, что костяшки белеют. И сквозь стиснутые зубы шипит:

— Неспроста это… Не мог он… Сам не упал. Рогожинские волки…

И тут же, как оса, вьется вокруг него Груня, хватая его за рукав и шипя уже от страха:

— Заткнись, дурак бестолковый! Тебе же хуже будет! Слышишь? Молчи!

Да. Он все знал. И все понимал. И молчал. Потому что сила была не на нашей стороне, а его молчаливая, упрямая честь велела не бросать слов на ветер, а держать оборону. Как он держал ее сейчас: один, с ведром карасей и починенной сетью, в ожидании приказа или просто – конца.

Мы постояли еще минуту в тишине, нарушаемой лишь плеском воды. Потом я положила руку на плечо Алеше, ощутив под ладонью его худенькую, но напряженную кость.

— Ладно, полководец. Самый важный объект покажешь теперь. Где у нас… архив?

Мы поднялись в нашу комнату. Алеша подошел к сундуку, с трудом приподнял крышку. Оттуда пахнуло сухими травами и бумажной пылью.

— Тут папино, — прошептал он.

На дне, под стопкой рубах, лежала пачка бумаг. И один, отдельный лист, сложенный вчетверо, с печатью.

Вексель.

Я развернула его. Начала читать. Сначала глазами Марии. Потом глазами Евгении Сергеевны Соколовой, главного бухгалтера.

Цифры. Проценты, написанные мелким, бисерным почерком. Формулировки: «…а в случае просрочки, взыскивается в счет долга как указанное в залоге имущество, так и трудовая сила владельца оного…»

Кровь ударила в виски. Не от страха. От холодной, всесокрушающей ярости.

— Это не долговая расписка, — сказала я тихо. — Это кабала. Подсунули, как фальшивую монету.

И вдруг Алексей, прижавшийся ко мне, прошептал:

— Мама… Помнишь как… Папу в тот день… нашли у моста. А перед тем… он от Рогожина шел. Говорил, что все уладит. Домой пришел весь белый, как мел. И все шептал: «Не отдам… Ни за что не отдам…»

Последние слова Михаила обрели плоть, время и место. Он шел от Рогожина. После «беседы». После угроз.

Для честного, любившего свою семью больше жизни мужчины это был не разговор. Это был смертный приговор.

Я встала, зажав в кулаке бумагу.
— Все. Инвентаризация окончена. Спасибо, полководец.
Он смотрел на меня с облегчением.
— А теперь иди к Танюше. Скажи Груне, чтобы накормила вас. Маме нужно подумать.

Глава 4. Первый рассвет. Тактика и мобилизация

Первый петушиный крик не разбудил, а выдернул меня, будто клещами, из черной, бездонной ямы, в которой не было ни сна, ни мысли, просто свинцовая усталость тела и души.

Я вскинулась на жесткой кровати. Сердце колотилось где-то в горле. Пальцы впились в домотканое покрывало. Глаза за секунду обежали уже знакомые очертания: почерневшие бревна, тусклое стекло окна, икону в углу.

Дача. Кресло. Дима в трубке телефона...

Но нет. Только скрип половиц под собственным весом и пронзительный, наглый крик за окном, раздирающий предрассветную тишину.

«Старый Ям». Май.

Я подошла к окну, отодвинула тяжелую ставню. Воздух хлынул в лицо не остывший за ночь, а уже теплый, густой, пьянящий запахами распустившейся сирени, влажной земли и дыма из далекой деревни. Внизу, в саду, буйствовала зелень. Яблони стояли в бело-розовой пене, кусты смородины лоснились молодыми листьями, а трава у плетня была такой изумрудной, что глазам больно.

А в памяти осень на даче... желтые листья, сырость, кофе...

Контраст был таким оглушительным, что я прислонилась к косяку. Грудь свело не тоской, а странным, щемящим восторгом. Красиво. Дико, немыслимо красиво. И как будто сама эта весна — мое личное пробуждение. Из той, прежней, уставшей осени в этот буйный, требовательный к жизни май.

Сразу вспомнилось вчерашнее. Лучина, столбцы, аккуратный почерк на клочке бумаги. «Активы. Пассивы». План, который я набросала в ночной тишине, когда два голоса во мне — сломленной Марии и цепкой Евгении — сплелись в один стальной трос.

Ну что ж, генеральный директор «Старого Яма», за работу.

Первым делом – касса. Я опустилась на колени перед дубовым сундуком, отодвинула верхнюю одежду. Рука сама, без подсказки, нащупала в углу небольшую деревянную шкатулку с потертой крышкой. Внутри, на бархатной подкладке, вытершейся до ниток, лежало состояние: горстка медяков да несколько серебряных монет.

Я высыпала все на покрывало и начала считать. Не спеша, подушечкой пальца перебирая каждый пятак. Итог был печален, но не убийствен. На полном безденежье не сидели. Но и пировать было не на что.

«Капля в море, — подумала я, упаковывая монеты обратно. — Но если этой каплей не бросаться, а точечно поливать корни, может, и выживем».

Где наши корни, кроме дома? Конечно, погреб. Вчера с Алешей не добрались, сил не хватило. Я быстро натянула холщовую рубаху, юбку, накинула поверх теплый клетчатый платок на плечи. На ноги грубые, зато сухие и целые лыковые чуни. Теперь можно и в подполье.

Спустилась по крутой лестнице. Темно, пахло сыростью, глиной и чем-то кисло-сладким. Чиркнула огнивом — неловко, но пальцы помнили движение, — зажгла сальную свечу на железном подсвечнике.

И тут я увидела. Не пустоту, а.. богатство. Настоящее, прошлогоднее, заботливо припасенное.

Вдоль стен ряд дубовых кадок, прикрытых кругами и грузами. Из-под крышки одной сочился знакомый, острый дух. Квашеная капуста. Рядом бочонок поменьше и там, судя по запаху, моченые яблоки. В углу, на полках, банки с чем-то темно-рубиновым: перетертая с сахаром брусника или клюква. И мешки. Один с картошкой. Часть, правда, сморщилась и дала ростки, но что-то еще можно спасти. Другой — с луком, уже проросшим длинными бледными стрелами.

«Эх, — мелькнула досадливая мысль, — прозевали, передержали... Но не беда. Выберу самые крепкие луковки и прямо сегодня воткну их на отдельную грядочку. Через неделю-другую свежая зелень к столу пойдет, не покупать же». Зелень в дело.

Сердце екнуло от неожиданной радости. Это не просто еда. Это — вкус. Основа. Тот самый секретный ингредиент, который отличает домашнюю стряпню от постоялой. Бесплатный актив, доставшийся в наследство от прежней, хозяйственной Марии.

Я вышла во двор, налила из колодца ледяной воды в деревянный ковшик, умылась, чтобы смыть остатки ночной тяжести. Боль в затылке притупилась, стала просто глухим напоминанием. Вода стекала по шее, по спине под рубаху, заставляя вздрагивать и чувствовать каждую клетку этого молодого, сильного тела.

Воздух! Он был чистым до головокружения. И тишина... Нет, не тишина. Шепот леса за околицей, журчание реки, возня каких-то птиц в саду. И полное, абсолютное отсутствие гула машин, радиопомех, фона бесконечных новостей.

«Сезон, — четко щелкнуло в голове. — Дороги просохли. Тракт оживает».

В памяти сами собой всплыли обрывки из книг, фильмов. Весна и осень — горячая пора для ямщиков, купцов, всех, кто в движении. Люди едут, им нужно есть, ночевать, менять лошадей. Поток денег и возможностей вот-вот хлынет мимо наших ворот.

Я на миг застыла, мысленно примеряя мечту к суровой правде. Дать сменную тройку — нечем. Орлик да Зорька для своих нужд, а Ветерок и сам на ногах не стоит. Но ведь можно и по-другому.

Дать лошадям отдохнуть на хорошем подворье, напоить свежей водой, накормить овсом, пока их хозяева в трапезной горячие щи уплетают, — это уже услуга. И за нее будут платить. Не так много, как за смену, но каждая копейка сейчас на вес золота. Главное — чтоб в конюшне чисто было и сено душистое.

Наш шанс. Прямо сейчас. Пока все вокруг только просыпаются от зимней спячки, пока городские гостиницы еще не раскачались...

Мысль была такой ясной и жгучей, что я почти побежала в дом. Пора. Прямо сейчас пора.

В кухне уже пахло дымом и простой овсяной кашей. У печи, спиной ко мне, стояла Ульяна Потаповна и с таким видом мешала в чугунке, будто хоронила последние надежды. Груня суетилась со скатертью на большом столе. А на лавке у окна, прижавшись друг к другу, сидели мои дети.

Танюша, увидев меня, просияла и потянула ручонки. Алеша смотрел серьезно, внимательно: «полководец» ждал указаний.

Я подошла, прижала обоих к себе, вдохнула этот теплый, сонный, детский запах. Это было важно. Не только для них. Для меня. Чтобы зацепиться за что-то настоящее, живое, за что стоит драться.

— Мама, ты уже совсем? Совсем вернулась? — спросил Алеша, глядя мне прямо в глаза.

— Совсем, — кивнула я. — И с планом. Сейчас позавтракаем, а потом соберем всех. Важный разговор будет.

Каша была пресной, но сытной. Я ела, чувствуя на себе тяжелый, неодобрительный взгляд Ульяны Потаповны и испуганно-любопытный Груни. Иван вошел, молча кивнул и сел в свой угол, методично поглощая порцию. Федьки не было видно.

«Спящее царство, — подумала я. — Пора будить. Жестко, но справедливо».

— Груня, позови, пожалуйста, Федора. Иван, прошу к столу. Ульяна Потаповна, на минутку отойдемте от печи.

Собрались не сразу. Федька пришел последним, подпирая дверной косяк, как будто не спал, а свалился с повозки. Невысокий, но долговязый, угловатый, как жеребенок, которого еще не оббили под седло. Помятый, с опухшим от недосыпа лицом, в заношенной, пропахшей конюшней и потом рубахе, висевшей на нем мешком. Из-под спутанных волос на лоб падала

прядь, скрывая глаза, но я успела поймать их выражение: не просто сонное, а какое-то притупленное, голодное и настороженное одновременно. Он не смотрел ни на кого, уставившись в свои растоптанные, заплатанные лапти, и всем видом своим говорил, что готов в любой момент раствориться в этом полумраке трапезной, лишь бы его не трогали.

Я обвела всех взглядом. Моя «команда». Испуганные дети, уставшая служанка, молчаливый работник, мятежная кухарка и раздолбай-конюх. Великая армия для войны с купцом-кровососом.

— Слушайте все, — начала я, и голос прозвучал тише, чем я ожидала, но как-то по-новому: без дрожи, с металлической прожилкой внутри. — Месяц у нас. Тридцать дней. Не для того чтобы плакать или руки опускать. А для того чтобы заработать и доказать. Рогожину, что он ошибся. А себе, что мы чего-то стоим. Дороги сейчас полны народу. Наш шанс – сейчас. Работать будем все. Каждый на своем посту.

Я перевела взгляд на Алешу.

— Алеша. Ты – мой главный учетчик и первый помощник. Задание у тебя особое, секретное. Как только солнце пригреет, идешь в лес, по самой опушке. Ищешь первые сморчки и дикий лучок, черемшу, может. Все, что съедобное и бесплатное. Глаз востро. Это наша первая прибыль, и нам она нужна.

Он выпрямился, кивнул, и в его глазах зажглась та самая важная искорка. Ответственность.

Я перевела взгляд на Танюшу, которая смотрела на меня широкими, серьезными глазами.

— А ты, моя помощница, идешь с тетей Груней. Будешь ей правой рукой: тряпочки подавать, когда окна моет, полотенца на солнышко выносить. И главное, смотреть, чтобы в углах паутинок не осталось. Ты же у нас самая зоркая?

Она важно кивнула, и ее личико просияло от такой важной миссии.

— Иван, — повернулась я к молчаливому утесу. — У тебя две задачи. Первая: обойди весь двор, от крыльца до заднего забора. Что шатается, что просело, что краски просит: ставни, крыльцо, наличники. Запиши на бумаге, чего и сколько нужно. Гвоздей, досок, извести.

Денег сейчас нет, но будут. Нам нужна точная смета. Вторая — поездка в город. Но не к старым поставщикам, слышишь? К новым. Со мной список согласуешь.

Иван медленно кивнул, одним движением головы. Ни слова. Но в его серых глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. Или просто на готовность.

Потом я посмотрела на Федьку. Он почувствовал мой взгляд и невольно съежился.

— Федор. Подойди-ка сюда.

Он нехотя подошел, волоча ноги.

— Конюшня, Федя, — сказала я негромко, но так, чтобы каждое слово врезалось, как гвоздь. — Это не хлев. Это – лицо нашего постоялого двора. Купец какой или чиновник подъезжает и первое, что видит, это где его лошадь будет стоять. А у нас что? Навоз по щиколотку, паутина с кулак, жеребенок еле ноги волочит. Это не конюшня, Федор. Это – позор. И наш прямой конец.

Он побледнел, губы задрожали.

— Да я... Мария Петровна, своими силами...

— Своими силами и будешь, — перебила я. — Слушай ультиматум. К закату солнца конюшня и амбар должны сиять. Чистота как в горнице. Навоз убран, стойла выскоблены и свежей соломой посыпаны. Орлика и Зорьку вычесать, гривы расхлестать. А Ветерка... — я сделала паузу, — ты его выхаживаешь. Как родного сына. Теплой водой отпаиваешь, лучшим сеном кормишь, подстилку меняешь три раза на дню. От твоих рук сейчас зависит, выживет он или нет. И будут ли у нас гости, или все мимо проезжать станут, нос воротя. Справишься – место твое, и уважение наше получишь. Нет... — я развела руками, — ищи себе работу другую. Решай.

Он стоял, глядя куда-то мимо меня, и по его загрубевшему лицу катилась одна-единственная, грязная слеза. Но я видела, в его потухших глазах что-то дрогнуло. Не страх даже, а забытое чувство – стыд. И вызов.

— Справлюсь, — прохрипел он.

— Не слышу.

— Справлюсь! — выкрикнул он уже громко, с отчаянием.

— Вот и хорошо. Начинай.

Я обернулась к Груне, которая слушала, разинув рот.

— Груня, ты у нас – хозяйка чистоты. В комнатах молодцом, все видела. Но сегодня – генеральная. Все половики выбить на улице до последней пылинки. Все окна настежь, пусть ветер гуляет, проветрит до скрипа. Запах должен быть не затхлый, а свежий, травяной. Белье все пересмотреть, перетряхнуть. Мы должны показать каждому, кто заедет, что дом не спит и не умирает. Он – живой и гостей ждет.

— Будет сделано, Мария Петровна! — Груня встрепенулась, как птичка, ее карие глаза загорелись знакомым, суетливым огоньком. Ей дали четкую задачу, и она уже рвалась в бой.

И наконец, Ульяна Потаповна. Она стояла, скрестив на груди мощные, в белых от муки руках, и смотрела на меня с каменным, непроницаемым лицом.

— Ульяна Потаповна, — начала я, выбирая слова. — Кухня – ваша крепость. Я это знаю и уважаю. Но даже самую надежную крепость иногда нужно укреплять и перевооружать. Прошу вас после совета остаться. Совместно проведем полную инвентаризацию кухни и кладовой. И обсудим новое меню. Кормить щами да кашей – этого мало. Нам нужно не просто накормить проезжего. Нам нужно его... удивить. Я кое-что придумала.

Она ничего не сказала. Только губы ее сжались еще плотнее. Но она не ушла. И это уже было победой.

В этот момент в дверях трапезной послышался негромкий стук костяшки о косяк, и на пороге возник знакомый силуэт.

— Мир дому сему! — раздался хрипловатый, но бодрый голос. В проеме стоял Семен, местный извозчик. Сухопарый, жилистый, в потертом зипуне и сапогах с раструбами. Лицо обветренное, глаза маленькие, хитрые, но по-своему добрые. — Чайку бы испить, Мария Петровна, да лошадок покормить. А то слыхал я, у вас тут вчера... переполох небольшой был? Рогожин, сказывают, навещал...

Все замерли. Я видела, как Груня испуганно схватилась за фартук, Иван медленно поднял голову, а Ульяна Потаповна презрительно фыркнула.

Я же, напротив, почувствовала прилив странной уверенности. Не просто гость. Возможность. Семен колесил по всему уезду, знал все слухи, всех поставщиков и все дорожные новости. Связь с внешним миром, приехавшая сама в руки.

— Мир и тебе, Семен, — ответила я ровно, подходя. — Переполохи проходят. Жизнь идет. Теперь у нас только вперед да вверх.

Он удивленно приподнял седую бровь, оценивающе оглядел меня: прибранную, со строгой косой, с новым блеском в глазах.

— Да уж... Видать, так, — протянул он. — А коли вверх, то, может, и дело найдется для моего тарантасика?

— Как раз найдется, — кивнула я. — Иван сегодня в город собирается, закупки делать. Подвез бы его да помог список новый исполнить. Не у старых знакомцев, а у новых людей. Оплата не только деньгами, но и обедом сытным, и будущими заказами твоими. Да еще просьба: поболтай там, порасспрашивай... про новых поставщиков муки, круп, может, дичи кто свежей продает. Независимых.

Семен почесал затылок, но в его глазах заискрился деловой интерес. Он любил выгодные и необычные поручения.

— А список-то какой? Секретный, поди?

— Согласуем. После того как с Ульяной Потаповной кухню проверим.

Извозчик усмехнулся, погладил клиновидную бородку.

— Ну что ж, дело говорите. Я – за. Подожду. Кашу, что ль, пока вашу похлебаю, коль зовете?

— Милости просим, — улыбнулась я впервые за это утро. Искренне. Потому что первый шаг к переменам уже был сделан.

Совет разошелся. Федька, словно приговоренный, поплелся в конюшню. Алеша, важно надув щеки, отправился за корзинкой для лесной добычи. Груня засуетилась с половиками. Иван молча вышел во двор с обрывком бумаги и обугленной палочкой вместо карандаша.

А я осталась на кухне с Ульяной Потаповной.

Мы начали молча. Вытаскивали горшки, сковороды, пересчитывали припасы в мешках и кулях. Мука второго сорта, темная. Пшено. Гречка. Соль крупная, серая. Масло постное в глиняном кувшине. Все самое необходимое, самое дешевое, без излишеств.

Ульяна Потаповна делала все с убийственным, безразличным профессионализмом. Каменное лицо не выражало ничего.

— Ну вот, — наконец сказала она, вытирая руки о фартук. — Все как на ладони. Мечтать не о чем. Удивлять, говорите? Да чем, матушка? Золотой пылью, что ли, посыпать будем?

Я достала из кармана юбки тот самый, ночной клочок бумаги.

— Ульяна Потаповна, мы не будем соревноваться с пирогами, в которых начинки на полцарства. Но мы можем сделать лучше всех то, что просто и всем доступно. Взять, к примеру, щи.

Она фыркнула.

— Щи? Да их каждая баба в деревне варит.

— Не такие, — тихо сказала я. — Двойные щи.

Она нахмурилась, и в ее властных глазах мелькнуло не только раздражение, но и едва уловимое любопытство.

— Какие еще двойные? Изыски нам не по карману.

— Никаких изысков, — покачала я головой. — Только умение. И немного хитрости. Представьте: сначала варим наваристый бульон. Потом туда лучшую часть нашей квашеной капусты, но не всю сразу, а под конец, чтобы кислинка не разварилась. А еще молодую зелень с огорода да лучок лесной, что Алеша принесет. И томим. Не кипятим, а именно томим в печи, часов шесть, чтобы все вкусы в одну песню сплелись. А потом... — я сделала паузу для эффекта, — а потом, прямо в тарелку, ложка сметаны, взбитой с толченым чесноком и укропом.

Она слушала, не прерывая. Каменное выражение лица потерпело первую трещину, бровь дрогнула.

— Сметана... это лишнее. Дорого.

— Не лишнее, — настаивала я. — Это – фишка. Изюминка. Запах, который пойдет по всей трапезной. И еще кое-что... На закуску. Лепешки. Не на дрожжах, а пресные, на сметане же, с тертой картошкой и жареным лучком внутри. Хрустящие, золотистые. Щи да лепешка – и мужик сыт, и доволен, и удивится: мол, у них тут не просто постоялый двор, а кормят по-хозяйски.

Я видела, как в ее глазах идет борьба. Скептицизм старой, уставшей кухарки борется с профессиональным азартом мастера, которому бросили вызов.

— Картошка тертая... опять морока, — пробормотала она, но уже без прежней ярости.

— Морока, да зато результат. Давайте попробуем. Прямо сегодня. Не на гостей, а на себя. На нашу же команду. Посмотрим, что получится. Меню на три дня вперед составим. Щи двойные, лепешки. Завтра – уха из свежей рыбы, если Иван что привезет, с пшеном и зеленью.

Послезавтра – тушеная с овощами... ну, что-нибудь придумаем. Главное, что вкусно, сытно и не так, как везде.

Ульяна Потаповна долго смотрела на меня. Потом тяжело вздохнула, словно снимая с плеч неподъемную ношу.

— Ладно, — сказала она коротко. — Попробуем. Только уж если затеваете, так не мешайте под ногами. Кухня – моя.

— Безусловно, — кивнула я, скрывая улыбку. — Я буду только подмастерьем. И поставщиком идей.

Она отвернулась к печи, начала растапливать ее с новым, деловым рвением. А я вышла на крыльцо, вдохнула полной грудью воздух, пропитанный запахом сирени и надежды.

Первый выстрел в нашей войне был сделан. Не в сторону Рогожина. Не наружу. А внутрь. В сердцевину нашей же апатии, нашего страха. Команда получила задачи. Логистика менялась: сейчас Иван с Семеном будут согласовывать список и уедут в город по новым адресам. А здесь, на кухне, только что началась самая важная битва: битва за вкус. За душу этого дома.

Завтрак команды был скептическим. Обед... будет рабочим. А ужин...

«Ужин, — подумала я, глядя, как Алеша с корзинкой несется к лесной опушке, а Федька с остервенением выгребает навоз из конюшни, — ужин должен стать объединяющим».

Из открытой двери дома донесся тонкий, но старательный голосок: Танюша что-то напевала, помогая Груне раскидывать половики на траву. Простой детский напев вплелся в общий звук пробуждающегося двора и стал его частью.

Посмотрим, получится ли у меня, Евгении-Марии, взорвать не только эту старую кухню, но и заледеневшее сердце Ульяны Потаповны. Война объявлена. И первое сражение мы дадим на своей же территории.

Глава 5. Неучтенный актив

Я стояла у окна на втором этаже, придерживая тяжелую ставню, и смотрела вниз, на свой новый, кипящий жизнью штаб.

Внизу, у крыльца, Иван и Семен возились около тарантаса. Иван, молчаливый, как скала, кивал на редкие, отрывистые фразы извозчика. Семен что-то доказывал, размахивая руками, тыча пальцем в невидимую карту воздуха.

Они погрузили последний мешок, Иван вскинул руку в мою сторону: короткий, как салют, жест: «Еду». Семен взгромоздился на облучок, щелкнул вожжами. Тарантас скрипнул, покатил по ухабистой дороге к воротам.

От кухни уже плыл запах: не просто еды, а обещания. Тонкий, кисловатый дымок томящегося щавеля, густой, маслянистый дух жареного на сале лучка для тех самых лепешек. Я спустилась вниз, заглянула в святая святых.

Ульяна Потаповна стояла у печи, вся – сосредоточенное, мощное напряжение. Не та прежняя каменная глыба, а скорее вулкан накануне извержения. Она сосредоточенно толкла вареную картошку, смешивая ее со щепоткой соли, перцем и ложкой сметаны. Движения пестика были не суетливыми, а мощными, размеренными, как удары кузнечного молота.

На ее обычно непроницаемом лице играл отсвет огня, и в глубоко посаженных глазах горел не знакомый мне скепсис, а профессиональный, цепкий азарт. Мастер, которому бросили вызов, и он этот вызов принял. Внутренне я улыбнулась. Первая атака в битве за вкус шла по плану.

Со двора доносился ритмичный, деловой стук. Я вышла. Федька, красный, как рак, от непривычного усердия, выгребал из конюшни тачку за тачкой навоза. Вид у него был не потерянный, а целеустремленно-мрачный, будто он соревновался с невидимым врагом и был намерен победить.

Он поймал мой взгляд, остановился, вытер лоб грязным рукавом и кивнул: коротко, почти по-военному. Мол, справляюсь. В открытых воротах конюшни было видно Ветерка: явно уже в чистом стойле, на свежей соломе. Он все еще стоял понуро, но, кажется, уже не так безнадежно. Прогресс. Осязаемый.

На лужайке перед домом Груня с энтузиазмом, достойным богатыря, выбивала половики. Пыль столбом, зато она при этом звонко, фальшивя на высоких нотах, напевала какую-то простенькую деревенскую песенку.

Рядом, серьезная, как взрослая, копошилась Танюшка. Она тащила за собой легкий половичок, явно считая это делом государственной важности.

Я поймала ее взгляд, улыбнулась широко, по-матерински, ободряюще. И увидела, как ее личико озарилось в ответ такой счастливой, беззубой улыбкой, что у меня сердце екнуло. Самый ценный, неоценимый актив этого дня. Алеша, мой «полководец», был где-то в лесу, на своей тайной миссии по добыче бесплатной зелени. Двор жил. Дышал. Работал.

Решила обойти свои владения сама, без проводника. Первым делом – корова. Мирная, гладкая буренка с умными глазами жевала сочную траву на заднем дворе.

«Раздолье, — констатировал во мне голос Евгении-бухгалтера. — Свое молоко, свои сливки, сметана, масло. Бесплатный ингредиент высшей категории. Себестоимость – ноль. Вечером подойду, подою: Мария ведь умеет».

Мысль была сухой, деловой, но где-то в глубине, в том уголке, что принадлежал только мне, теплилось странное удовольствие от этой простой, понятной цепочки: земля — трава — корова — молоко. Основа.

Потом – курятник. Тут вступил в права опыт Евгении-дачницы. Подсыпать зерна из берестяного лукошка, проверить поилки. Вода должна быть свежей, чистой. Заглянуть в темные

углы: нет ли хорьковой норы. Все просто, системно, без суеты. Куры закудахтали благодарно, засеменили к кормушке.

И наконец – огород. Мое место силы. Я скинула грубые чуни, опустилась на колени прямо на влажную, прохладную землю у грядки. Пальцы, чужие и в то же время до жути знакомые, сами нашли первую сорную травку, выдернули ее с мягким хрустом корешков.

Земля пахла жизнью, будущим. Евгения тут же начала строить планы, и мысль раздвоилась. Одна часть ее, стратег, рисовала карты на завтра: «Вот здесь, как только земля прогреется получше посажу морковь, тут – свеклу, чтобы хоть примитивный севооборот соблюсти. А этот угол – под компостную яму, надо бы Ивану сказать…»

Другая часть, прагматик-хозяин, требовала действий на сейчас: «Но где же у нас семена? В амбаре, наверное, в глиняных горшочках. Надо найти, проверить, что годится. И эту пустующую грядочку можно уже засадить редиской. Она быстро. И подсадить к луку салат, он тень любит…»

Планы сплетались в единый, неотложный список дел.

И тут накатило. Ностальгия. Не грустная, а резкая, как удар тока. Я представила свою дачу. Аккуратные, ровные грядки с синими лентами капельного полива. Пластиковые ярлычки с названиями сортов. Тишина, нарушаемая только гулом трассы за лесом.

«Вот эти поливные ленты… Их тут нет, да и не из чего взять. Но, — мысль тут же, с привычным упрямством, принялась искать выход. — А что, если?.. В старом амбаре валяются обрезки кожи да холста. А на чердаке, помнится, лежит целый рукав от старой брезентовой кибитки. Дырявый, конечно. Но ведь Иван рукастый, ему под силу: пропитать смолой, сшить в длинную трубку, пробить в ней шилом дырочки… Приладить к бочке, а ее поставить повыше… Самодельная, примитивная, но система. Вода будет сочиться, а не литься, — значит, экономия и польза. Надо будет обдумать, как ему задачу поставить.

Физический труд странным образом успокоил ум, расставил мысли по полочкам. И вот она, главная заноза, впившаяся в сознание с прошлого дня, вышла на первый план, четкая и неотступная: «Куда делись деньги?»

Михаил взял у Рогожина крупную сумму. Очень крупную. Покупка Ветерка и тех самых гнилых бревен – это капля. Остальное? Он не был транжирой. Не был глупцом. Он был хозяином, семьянином, бережливым мужиком. Он не оставил бы жену и детей с пустыми карманами на растерзание волкам. Не бросил бы взятое золото на ветер.

Интуиция бухгалтера била тревогу: где-то есть актив, неучтенный в нашей вчерашней инвентаризации. И обрывки памяти Марии, смутные, как тени, начали шевелиться, тянуться к этой мысли.

Глава 6. Ключ и шанс

Хватит гадать. Пора искать.

Я отряхнула землю с колен, натянула чуни и решительным шагом направилась в дом. В трапезной запах стал еще гуще, еще соблазнительнее. Ульяна Потаповна, уже замесив тесто, раскатывала его на столе, припорошенном мукой. Движения широкие, уверенные.

Она даже не взглянула на меня, полностью погруженная в процесс. Я промелькнула мимо, поднялась по скрипучей лесенке в свою комнату.

Сердце почему-то стучало чаще. Не от страха. От предчувствия.

Я опустилась перед дубовым сундуком Михаила. Вчера мы смотрели бумаги. Сегодня нужно было копнуть глубже. Не в верхний ящик, где лежала его праздничная рубаха, а туда, на самое дно, где хранилось то, что принадлежало только ему. Я отодвинула стопку домотканых холстов, пару старых, заношенных тужурок. Пахло нафталином, дегтем и… им. Тихой, сдержанной грустью.

И вот он. Под холщовым мешочком с гвоздями и обрезками кожи лежал ключ. Непохожий на другие. Тяжелый, массивный, из темного, потускневшего металла, с витыми, замысловатыми бороздками.

Я взяла его в ладонь. Холодный, увесистый. И в тот же миг, будто от этого прикосновения, в памяти Марии всплыл образ, четкий, как картинка. Он, Михаил, вечерами, бывало, брал этот ключ: «Схожу, проверю», — говорил и уходил вниз, в погреб. Но не к кадкам с капустой… Куда-то вглубь.

Ледник. Старый, глубокий ледник, вырытый еще дедом. Туда зимой набивали глыбы льда с реки, чтобы летом хранить скоропортящееся. Что же он мог там хранить?

Я накинула на плечи шаль, крепко сжала ключ в кулаке, так что металл впился в кожу, и спустилась вниз, в погреб.

Здесь было прохладно, пахло сыростью, грибной прелью и влажным дубом от бочек. Я прошла мимо кадок с капустой, мимо полок с банками. В самом дальнем углу, за грубой несущей балкой, зияла низкая, словно вросшая в землю арка. Ее закрывала тяжелая, почерневшая от времени и сырости дубовая дверь, стянутая коваными полосами, запертая на большой амбарный замок: старинный, весь в замысловатых, уже сглаженных временем узорах.

Я вставила ключ. Поворот тяжелый, с глухим, сухим скрежетом внутренних механизмов, который в звенящей тишине погреба прозвучал оглушительно громко. Сердце замерло.

Дверь отворилась с глухим стоном. За ней не комната, а узкий проход, куда вели грубые каменные ступени, уходящие вниз, в темноту. Колодец холода. Я зажгла припасенную заранее сальную свечу в жестяном подсвечнике и начала спускаться.

Воздух стал ощутимо холоднее, гуще. Ледник. Полумрак. Свеча выхватывала из тьмы пустые, промерзшие насквозь каменные полки: зимние запасы давно съели. Все чисто, пусто. Взгляд бухгалтера Евгении скользил по стенам, ища несоответствия, «слепые зоны». И нашел.

Одна из каменных плит в дальнем углу, у самой земли, была… чуть чище других. Будто к ней часто прикасались, стирали пыль и налет плесени. Я опустилась на корточки, провела ладонью по шершавой поверхности. Края плиты были неровными. Я нащупала пальцами щель, подцепила. Камень подался, оказался не таким тяжелым, как казалось. Под ним не фундамент, а рыхлая, холодная земля.

Задержав дыхание, я стала раскапывать ее руками. На глубине пальцы наткнулись на что-то твердое, округлое. Я вытащила. Небольшой, засмоленный по стыкам деревянный горшок, тяжелый, как свинец. Руки дрожали уже не от холода.

Я поставила свечу рядом, сковырнула ногтем воск, которым была залита крышка. Она снялась с глухим чмоканьем.

Внутри, аккуратно свернутые в плотные трубочки, лежали ассигнации. И под ними, на самом дне, несколько золотых монет: империалы, тускло блеснувшие в пламени свечи.

Эмоции нахлынули вихрем. Первая реакция Марии — комок в горле, слезы, которые хлынули сами, горячие, соленые. Не оставил… Не бросил… Припрятал, как умный хомяк, на самый черный день. Прости, Миша, что не поняла тогда… Горькая, щемящая благодарность мужу, который и после смерти продолжал их защищать.

А потом вступила Евгения. Ее реакция была мгновенной, холодной и точной, как удар скальпеля. Глаза сами собой пробежали по купюрам, оценили монеты. Сумма сложилась в голове сама.

— Недостаточно, — прошептала я в ледяную тишину ледника. Голос прозвучал странно, отчужденно. — Чтобы откупиться от кабалы – мало. Но чтобы выиграть время… чтобы нанести удар… Более чем достаточно.

Я аккуратно сложила основную сумму обратно в горшок. Забрала лишь несколько купюр разного достоинства и одну золотую монету: на самые неотложные, «черные» нужды. Остальное – обратно в землю. Камень на место. Притоптала землю ногой, присыпала пылью и крошками со стен. Место должно выглядеть нетронутым.

Ключ от ледника я не собиралась прятать обратно в сундук. Я сняла с пояса свою связку ключей и нанизала тяжелый железный ключ на нее. Он звякнул, приняв свое новое место. Жест был простым, но символичным. Теперь я была полноправной хозяйкой. Всего. Включая тайны.

Я только вышла из ледника, заперев за собой тяжелую дверь, как сверху донесся резкий, тревожный голос, отдавшийся эхом по каменным сводам:

— Мария Петровна! Где вы? К вам гости!

Груня. В голосе – не просто суета, а испуг, смешанный с важностью события.

Сердце рванулось в горло. Адреналин ударил, как хлыст, заставив мгновенно переключиться. Я потушила свечу и быстро, почти бегом, поднялась по ступеням.

Из прохладного, густого полумрака погреба я вынырнула в ослепительный, полуденный майский свет двора. Солнце ударило в глаза, заставив зажмуриться. Я прикрыла лицо ладонью, мир плыл перед глазами золотыми и черными пятнами.

— Мария Петровна, вот вы где! — Груня, вся раскрасневшаяся, схватила меня за рукав прямо у выхода. Она шептала, кивая в сторону ворот, глаза ее были круглыми от возбуждения. — Чиновник, ей-богу! Из города, поди! На тройке с форейтором лихим! Только что подкатил, я ковер выбивала, аж пыль столбом! Спрашивает хозяйку. Сами примете?

Я выпрямила спину, отряхнула с юбки прилипшую землю, поправила сбившийся платок. Взгляд, еще не сфокусированный после темноты, стал собранным, острым. Первая проверка на новом поле боя. Не Рогожин. Но представитель власти. Друг? Нейтральный наблюдатель? Или… новая угроза, о которой мы не знали?

Я сделала шаг на залитый солнцем двор. Рукой все еще щурилась от света.

И увидела.

У ворот, сверкая лаковой сбруей, стояла наемная тройка. Форейтор, щеголь в ливрее, небрежно поправлял узду. А от экипажа ко мне, легко и быстро, почти бесшумно ступая по твердой земле, шагал высокий мужской силуэт.

Солнце било ему в спину, и лицо его было пока лишь темным пятном на фоне ослепительного света. Он уже снял фуражку, держал ее в руке. В его движениях, в развороте плеч чувствовалась уверенность и спокойная, деловая целеустремленность.

— Да, Груня, — сказала я, и голос мой прозвучал ровно, хозяйственно. — Я сама. Беги, поставь самовар покрепче. И передай Ульяне Потаповне… чтобы лепешки к чаю не забыла, самые румяные. Будем встречать гостя… по-хозяйски.

Глава 7. Постоялец в темном пальто

Солнце било в глаза так, что на миг весь двор поплыл золотыми пятнами. Я прикрылась ладонью, щурясь, пыталась разглядеть, кто подходит. Сперва только силуэт — высокий, прямой, отсекающий ослепительный свет. Но не просто высокий: стройный, подтянутый, даже в движении чувствовалась какая-то внутренняя собранность, будто каждый его шаг был обдуман и отмерен. Служивый, что и говорить. Но не из тех, что грубят на плацу. Из тех, что командуют тихо, и им подчиняются безоговорочно.

Сердце мое, привыкшее за последние сутки колотиться по любому поводу, на мгновение замерло. Чиновник? Сюда? От мыслей о Рогожине, о долгах, о кабале по телу пробежали холодные мурашки. Но я вдохнула полной грудью: запах сирени, теплой земли, дыма из кухни, где Ульяна Потаповна томила наши щи. Вот он, мой мир. И я в нем хозяйка. Кто бы ни подошел.

Он вышел из солнечного ореола, и я смогла разглядеть его.

Лицо… не молодое. Лет под сорок. Четкие скулы, твердая линия подбородка — все очертания были такими ясными, будто их провели уверенной рукой резца. Волосы темно-каштановые, не черные, а с теплым отливом, уложены аккуратно, но без щегольства: просто чисто, как и все в его облике. А на щеках и подбородке легкая, едва заметная небритость. Не неряшливая щетина, а скорее тень усталости, налет суровости, который не портил, а дополнял его. Делало мужчину не картинкой из журнала, а живым. Опасным. Притягательным.

И глаза… Господи, глаза. Они были не просто темными. Они были глубокими, пронизывающими, будто в них можно было утонуть и не найти дна. Карие, но не просто карие: в них были отсветы того же теплого каштана, что и в волосах, и более темные, почти черные глубины. В них читалось все сразу: и усталость долгой дороги, и внутренняя решимость человека, знающего, зачем он здесь, и… печаль. Тихая, скрытая, но живая. Такая, что мне вдруг, нелепо и резко, захотелось ее разгадать. Узнать, откуда она.

Его оценивающий, внимательный взгляд скользнул по мне. Но было в нем что-то… теплое. Почти заботливое, хотя он, кажется, изо всех сил старался это скрыть. Он видел все: мою поношенную юбку, заплетенную наспех косу, землю на руках, следы вчерашних слез, может, еще не сошедшие с лица. Видел и не осуждал. По крайней мере, мне так показалось. Просто принимал к сведению.

Одежда... Длинный сюртук из темного, практичного сукна, без излишнего щегольства, сидел на нем так, будто сшит по мерке: подчеркивая стройные плечи, узкую талию, всю эту собранную, почти военную фигуру. Под сюртуком — жилет, темный, но другого оттенка, и чистая, хоть и не хрустящая крахмалом рубашка. Ни галстука, ни одной лишней, душной детали — одежда делового человека, которому предстоит долгий день, а не прием. Все говорило о привычке к порядку, к дисциплине, к тому, что внешнее — это отражение внутреннего, но без показной роскоши.

В руках он держал кожаный портфель, видимо, деловые бумаги. Держал спокойно, уверенно. И стоял он не как наши мужики: не переминаясь с ноги на ногу, не сутулясь. Стоял прямо, спина — струна, голова слегка наклонена, будто он все еще обдумывал что-то важное по дороге сюда. Уверенность от него исходила почти физически: не спесь, не чванство, а тихая, непоколебимая сила.

В его облике не было ни капли театральности. Никакого желания произвести впечатление. Только сдержанная, строгая элегантность, которая заставляла меня чувствовать себя одновременно маленькой, простой, и… безумно заинтересованной. Кто он? Почему здесь? Что скрывается за этой безупречной внешностью?

Он снял фуражку, держа ее в левой руке, и слегка, почти незаметно кивнул. Не поклон, не подобострастие. Просто жест вежливости между равными. Хотя какие уж тут равные.

— Черкасов, — произнес он. Голос оказался негромким, ровным, без привычной местной хрипотцы. Четким, как его линия подбородка. — По судебной части. Мир вашему дому.

По судебной части.

Слова прозвучали как удар колокола где-то глубоко в висках. Все внутри оборвалось и съежилось в один холодный, твердый ком.

Рогожин. Он уже подал. Месяц не прошел, а они уже судебных прислали?

Паника, острая и слепая, хлынула волной, перехватив дыхание. И прежде чем разум успел наложить вето, слова вырвались наружу — тихие, сдавленные, полные голого страха:

— Месяц-то… по долгу еще не вышел… Я знаю…

Я тут же стиснула зубы, почувствовав, как по щекам разливается жар. Дура. Совсем дура. Выложилась с порога.

Тело Марии само склонилось в мелком, почтительном книксене. Я не сопротивлялась, используя эту секунду, чтобы спрятать лицо, сгорающее от стыда и ужаса.

— Мария Петровна, хозяйка, — ответила я, и голос, к моему удивлению, звучал спокойно. — Милости просим. Чем могу быть полезной?

Черкасов замер. Его темные, проницательные глаза стали еще внимательнее, тяжелее. Он медленно, будто взвешивая каждое движение, приподнял одну бровь: не удивленно, а с какой-то глубокой, усталой понимающей иронией. Будто таких реакций он видел уже сотни.

— Я не по долгам, Мария Петровна, — произнес он спокойно, и в его ровном голосе теперь звучала не только ирония, но и что-то… почти мягкое. Обещающее, что он не враг. По крайней мере, не в этом. — По своим делам.

От этих слов не стало легче. Стало… странно. Пусто и подозрительно. Не по долгам. Значит, по чему-то еще. Но что может быть у судебного чиновника в нашем захудалом «Старом Яму»? И почему он смотрит на меня так, будто уже прочел в моей душе все: и страх, и стыд, и эту глупую, детскую надежду, что, может, он все-таки не за тем?

Внутри все сжалось. Спрашивать прямо — себе дороже. Молчать — страшно.

Его взгляд — тот самый, глубокий и пронизывающий — медленно скользнул по двору. Обошел конюшню, где Федька застыл, уставившись на нас с вилами; дым из трубы; сад, буйствующий зеленью. Нашел Алешу. Мой мальчик стоял у амбара, прижав к груди корзину с лесной добычей, и смотрел на незнакомца широко открытыми глазами. Не страшно, а с жадным любопытством.

Взгляд Черкасова вернулся ко мне. В тех глазах, хранящих столько тайн, промелькнуло что-то: не улыбка, нет. Признание. Будто он увидел не просто двор, а историю. Нашу историю.

— Слухом земля полнится, — произнес он наконец, и в его ровном голосе прозвучала легкая, усталая ирония. — Говорят, на «Старом Яму» пристанище найти можно, и харчами не обидят. Не найдется ли у вас уголка для проезжего? Комнату на неделю, может, и дольше. С харчами, разумеется.

Я смотрела на него, на его безупречное пальто, на спокойные руки, держащие портфель. Такой человек — здесь? В нашем полуразоренном дворе? Расчет боролся со страхом, а где-то глубоко, в самой глубине, шевелилось что-то еще: щемящее, незнакомое. Любопытство?

— А что ж не в городе-то, барин? — вырвалось у меня, и я мысленно пнула себя. Но осторожность оказалась сильнее. — Вам, поди, в Крутогорской гостинице куда сподручнее. Чисто, комфортно… А у нас все просто, по-крестьянски.

Он не смутился. В уголках его строгих губ дрогнула та самая, едва уловимая тень понимания.

— Простота честнее золоченых потолков, — сказал он тихо, и в его глазах на миг стало теплее. — А тишина — дороже любого оркестра. Мне для работы покой нужен. Дел много, разбираться надо.

Работа. Дела. Значит, не проездом. Надолго. Мозг Евгении тут же принялся подсчитывать: неделя проживания, питание… Это была не просто удача, это была возможность. Но голос разума шептал: «Слишком хорошо, чтобы быть просто так».

— Комната свободная есть, — сказала я, стараясь говорить ровно, по-хозяйски. — Наверху, окна в сад. Тихая. Самовар постояльцам подаем с утра и к вечеру. Харчи — за отдельную плату. Кухня своя, кормим сытно.

— Устроит, — кивнул он просто. Потом, будто вспомнив формальность, добавил: — Григорий Васильевич. Коли будете так добры.

«Григорий Васильевич». Отчество с порога. Оно звучало на его устах не как чин, а как часть его сути. Обязательная, строгая, но не чванливая.

— Слушаюсь, Григорий Васильевич, — ответила я, опустив глаза. — А меня… Марией Петровной величают. Да я уж говорила.

В этот момент Алеша, отставив корзину, сделал несколько шагов вперед. Остановился, смотрел прямо на Черкасова. Не испуганно, а с тем серьезным, изучающим взглядом, который он перенял у отца.

Черкасов перевел на него взгляд. Его каменное лицо не смягчилось, но в глазах, тех самых глубоких, промелькнуло что-то… узнающее? Почти нежное?

— Сынок? — спросил он у меня, но глядя на Алешу.

— Сын, — кивнула я, и неожиданный комок подкатил к горлу. — Алексей. Помощник мой.

— Вижу, — коротко сказал Черкасов. И кивнул Алеше тем же скупым, но уважительным кивком, что и мне. Алеша в ответ выпрямил спину, и в его глазах загорелась гордость.

Потом Черкасов снова повернулся ко мне. Его взгляд все так же был проницательным, но теперь казался более спокойным, почти бытовым. Он просто ждал, наблюдал, давая мне время осознать: да, он остается.

Интуиция, та самая, что когда-то помогала мне чуять подвох в финансовых отчетах, тихо зашептала: «Будь осторожна. Он не случайный». Я расправила плечи, прогнала прочь липкий страх. Страх не приносит доход, а этот человек — приносит.

— Что ж, Григорий Васильевич, — сказала я, и голос уже звучал ровно, по-хозяйски твердо, — коли порешили, добро пожаловать. Комнату покажу сейчас. А насчет стола — не обессудьте, кормим по-домашнему, но сытно. Щи сегодня двойные, лепешки с лучком. Откушаете — сами оцените, стоит ли «Старый Ям» вашего внимания.

Он кивнул, и в уголках его строгих губ дрогнуло что-то, похожее на одобрение.

— От души оно и дороже всяких яств, — ответил он просто. — Благодарю, Мария Петровна.

— Так, значит, решено? — переспросила я, все еще ловя себя на странном, щемящем волнении. Гость был принят. Игра, чья бы она ни была, началась.

— Решено, — подтвердил он коротко. — Вещи мои форейтор внесет. А я, с вашего позволения, двор ваш осмотрю. Место… с историей. Чувствуется.

— Осматривайте, — разрешила я, чувствуя, как по телу разливается странная смесь трепета и любопытства. — Только конюшня… еще в работе.

— Ничего, — он махнул рукой в перчатке, жестом человека, видавшего виды. — Я и не такое видал.

И он пошел неторопливо, уверенно. Его прямая, элегантная фигура казалась инородным, но не чужим телом в этой пестрой, живой картине моего мира. Я смотрела ему вслед, держа руку на плече Алеши, и чувствовала, как воздух вокруг изменился. Стал гуще, звонче.

Пахло теперь не только сиренью и дымом, но и тайной. И чем-то еще… чем-то живым, трепещущим, что заставляло сердце биться чаще не только от страха.

«Ну что ж, Григорий Васильевич, — подумала я, направляясь в дом, чтобы распорядиться насчет самовара и лучшей комнаты. — Посмотрим, какие тайны ты привез с собой. И какие из них… окажутся нашими общими».

Глава 8. Глаза и уши на тракте

(рассказанная Черкасовым)

Я отошел от хозяйки, оставив ее стоять на солнцепеке.

Тихо вздохнув, медленно направился через двор, будто просто разминая ноги после долгой дороги. А на самом деле глаза мои впивались в каждую щель, каждый камень, каждую тень. Мозг, отточенный годами судебной канители, уже раскладывал все по полочкам.

Тишина. Наконец-то. И уединение не в глуши, а на самой что ни на есть дороге. Тракт под боком: видно всех, кто в город тянется и из города вываливается. Идеальная точка для наблюдений. В той гостинице городской свои соглядатаи и доносчики. А здесь… Здесь я сам буду глазами и ушами.

Двор открывался передо мной печальной, но крепкой картиной. Я замедлил шаг, внимательно оглядывая постройки.

Главный дом хоть и почернел, но бревна толстые, долго простоит. Фундамент из дикого камня не на один век заложен. Конюшня длинная, просторная, хоть сейчас полк кавалерии размещай. Все добротно, на совесть. Рука мастера чувствовалась.

Дом богатый. Хозяин — рукастый, не лежебока. Был. Значит, проблемы пришли извне. Или изнутри, в виде излишней доверчивости. Чаще всего так и бывает. Сперва разоришь, потом заберешь. Обычная схема. Видал не раз.

Я знал про это место еще до приезда. Наводил справки. Умер хозяин, Михаил Беляев, при обстоятельствах, которые начальству показались… не до конца ясными. Вдова осталась за главную. Долги. Она сама про месяц упомянула. Стандартная история выжимания имущества через кабалу. Но исполнитель пока не ясен. Местный ли купец-мироед? Или кто посерьезнее?

Но она…

Я мысленно вернулся к той первой секунде, когда она вышла ко мне из темноты погреба: запачканная землей, с глазами, полными не страха даже, а какой-то дикой, живой тревоги. А потом — сталь в голосе. Прямой взгляд. Не в землю смотрела, а мне в лицо, даже когда от страха про месяц долга сказала.

Интересно. Форейтор описал вдову, едва живую от горя, а я вижу… это. Интересно, что ее так быстро выпрямило? Дети? Срок, поджавший горло? Или просто горе — роскошь, которую она не может себе позволить, пока двор не вытащит?

Посмотрим. Такая собранность может оказаться полезной… или опасной, если она решит, что я — помеха ее войне. Пока я просто постоялец. Пусть так и думает.

Конюшня встретила меня знакомым запахом: навоз, сено, животное тепло. Но под ним — нотка запустения. Я придержал полы сюртука, переступил через высокий порог.

Внутри царило странное сочетание бардака и кипящей деятельности. Посреди прохода стояла тачка, полная свежего навоза. А в дальнем конце, у стойла, корячился над вилами парень: тощий, долговязый, в рубахе, висящей мешком. Работал он с каким-то отчаянным, почти злым усердием, будто вымещал на навозе все свои обиды.

Увидев меня, парень замер, выпрямился. Глаза, спрятанные под спутанной челкой, метнулись к выходу, будто ища пути к бегству.

— Не помешал? — спросил я нейтрально, делая шаг в сторону стойл.

— Никак нет, барин, — пробормотал он, снова съеживаясь. — Убираюсь тут… как велели.

— Как велели? — переспросил я, приближаясь. — Хозяйка?

Парень кивнул, сглотнул.

— Мария Петровна. Чтоб к закату… чтоб сияло.

Значит, уже наводит порядок. Решительно.

— А как звать-то тебя? — спросил я, остановившись у первого стойла.

— Федька, — чуть слышно ответил парень. — Федор.

— Ну что, Федор, показывай свое хозяйство.

Я прошел вдоль стойл, оценивающим взглядом осматривая лошадей. И остановился перед гнедым красавцем. Конь, почуяв чужого, гордо вскинул голову, фыркнул. Глаза умные, горячие. Стать — не крестьянская ломовая, а ездовая, с кровью.

— А это кто у нас такой? — спросил я, и в голосе моем впервые прозвучала неподдельная заинтересованность.

— Орлик, — с гордостью выпалил Федька, и тут же снова смутился, будто выдал чужой секрет. — Покойный барин… Михаил Иванович… из-под Москвы выписывал. Для быстрой езды.

Орлик. На таком и самому можно будет в город сгонять, коли нужно будет быстро и незаметно. Не на тройке же с форейтором каждый раз. Да и где его на тракте-то сыскать, когда быстро понадобится.

— Красавец, — констатировал я, позволив себе короткую, одобрительную улыбку. — За ним уход особый нужен.

— Дядя Иван, брат покойного хозяина, каждый день чистит, — поспешил заверить Федька. — Я… я теперь тоже буду. Хозяйка сказала.

— И правильно. Лошадь – лицо двора, — я обернулся к парню, глядя на него уже не так строго. — Скажи, Федор, а далеко отсюда до города? На нем, например, доехать?

Федька оживился. Вопрос был в его компетенции.

— На Орлике? Да час, не больше! Рысью так и вовсе сорок минут. Дорога накатанная.

— А в другую сторону что? — продолжил я, делая вид, что просто уточняю географию. — Не городская сторона-то?

— Там… лес, да болотца мелкие начинаются. А потом, верст через десять, завод стоит.

— Завод? — спросил я, изображая легкое любопытство. — Какой же?

— Чугунолитейный, — буркнул Федька. — Сказывают, на всю губернию чушки льют.

— Ох, дело-то важное, — кивнул я, будто впечатлен. — Стало быть, сырье туда возят… руду, уголь?

— Ага, — Федька оживился. — Обозы с Урала идут, пуды по сто тащат. Шумные, пыльные.

Чугунолитейный… Обозы с Урала. Идеальное прикрытие. В бочках с «рудой» или мешках с «углем» можно провезти что угодно. И обозы эти… проходят прямо здесь. Очень, очень интересно.

— Останавливаются тут? У вас?

— Иногда, — парень потупился. — Мужики что правят… грубые. Пьют, шумят. Лучше б проезжали мимо.

Значит, контакт есть. Пусть и неприятный. Но канал. И «грубые мужики» — это уже характерная примета.

— Понятно, — кивнул я. — Ну, не буду мешать. Работай, Федор. Вижу, у тебя сегодня дел по горло.

Я вышел из конюшни, щурясь на ослепительное солнце. Так, завод, купец, обозы, грубые мужики. И хозяйство, которое пытаются задавить. Картинка начинает проступать. Без фамилий пока, но силуэт угадывается. Информации достаточно для начала. Теперь нужно было вписаться в быт этого дома. Стать своим. Или, по крайней мере, не чужаком.

Вернувшись к дому, я застал Марию Петровну на крыльце. Она сидела на низкой скамеечке, перед ней стояла плетеная корзина, полная грибов: мелких, темных, пахнущих сыростью и хвоей. Рядом, прижавшись к ее колену, сидела светловолосая девочка и с серьезным видом перебирала гриб, явно подражая матери.

Увидев меня, Мария быстро поднялась, отряхнула руки о фартук.

— Осмотрелись, Григорий Васильевич?

— Осмотрелся, — кивнул я. — Место у вас… дышащее. Чувствуется, что жилое.

— Живое пока, — ответила она просто, и в ее глазах мелькнула тень усталой иронии. — Комнату вам показать? Уже готово.

Она лично провела меня наверх, по скрипучей, крутой лестнице. Комната оказалась небольшой, но опрятной. Чисто вымытый пол, деревянная кровать с домотканым покрывалом, стол у окна, таз и кувшин для умывания на тумбе. В окно, действительно, открывался вид на сад: буйство зелени, яблони в цвету. Жаль, не во двор. Но привлекать внимание просьбой о другой комнате не стоит. Воздух пах не затхлостью, а сушеной мятой и свежим деревом.

Я снял сюртук, аккуратно повесил его на спинку стула.

— Все в порядке? — спросила хозяйка, стоя на пороге. В ее позе читалась легкая напряженность: принимает ли постоялец?

— Более чем, — ответил я. — Спасибо, Мария Петровна.

— Обедать будете в общей трапезной? — уточнила она. — Или принести сюда?

— В трапезной, — ответил я без колебаний. Нужно было видеть людей, слышать разговоры. — Не хочу вас лишними хлопотами обременять.

Она кивнула и вышла, мягко прикрыв дверь.

К обеду спустился, накинув сюртук на плечи, для порядка. Трапезная уже наполнялась запахами: густыми, манящими, совсем не постоялыми. За большим столом сидели дети. Крупная женщина в белоснежном накрахмаленном платке, вся — власть и неодобрение, вынесла из кухни огромный чугунок и с грохотом поставила его на специальную подставку. Та самая вертлявая служанка, что встречала меня утром, порхала как мотылек, расставляя на столе миски.

Мария вошла последней: уже без фартука, с туго заплетенной косой. Она взяла на себя роль распорядительницы.

— Григорий Васильевич, прошу к столу. Место вам здесь, под образами, почетное.

Я сел, кивнув в знак благодарности. Передо мной поставили глиняную миску, глубокую, с отливом. Мария сама налила щей. Пар ударил в лицо: густой, с кислинкой, с дымком.

— Сметанки добавить? — спросила она, и в ее голосе прозвучала не просто вежливость, а какое-то внутреннее ожидание, будто она ждала моей оценки.

— Не откажусь.

Она положила в миску ложку густой, желтоватой сметаны, посыпала сверху мелко нарубленной зеленью: какой-то диковинной, пахнущей чесноком.

Я взял ложку. Первый глоток, и я едва не кашлянул от неожиданности. Это было… невероятно. Наваристый, глубокий вкус, где кислинка капусты не дралась с бульоном, а сливалась с ним в один плотный, теплый аккорд. Сметана и зелень давали свежую, яркую ноту. Это была не похлебка для проезжих. Это было блюдо.

Первая ложка и уже ясно. Она не просто выживает. Она конкурирует. Умно. Очень умно. Знает, что на одном хлебе и воде гостей не удержать. Делает ставку на качество. Значит, борется. Значит, есть воля, а не просто отчаяние.

— Превосходно, — сказал я искренне, поднимая взгляд на хозяйку. — Не ожидал.

На ее строгом лице дрогнуло что-то, похожее на улыбку. Быстрая, как солнечный зайчик.

— Лепешки еще попробуйте, — сказала она, придвигая в мою сторону деревянное блюдо с румяными, поджаристыми лепешками. — С лучком и яйцом.

Пока ел, я наблюдал. За ней. Она не сидела на месте. То подойдет к детям, поправит девочке ложку, то бросит взгляд в сторону кухни, где повариха гремела посудой, то перекинется парой слов с вертлявой служанкой, которая нашептывала ей что-то на ухо, кивая в мою сторону. Она держала в голове двадцать дел сразу, но делала это без суеты, спокойно, четко.

Как хороший офицер в бою. Видит поле, своих людей, чувствует ритм.

Под конец обеда на дворе послышался скрип колес и фырканье лошадей. Мария насторожилась, бросила взгляд в окно, и лицо ее чуть просветлело. Она быстро вышла в сени. Я остался за столом, попивая уже остывший чай. Из сеней донеслись голоса.

— Ну что, Иван, все справил? — голос Марии, деловой, но с оттенком надежды.

— Справил, — ответил мужской бас, глуховатый и короткий. Значит, это Иван. Брат покойного.

— Ах, Мария Петровна, гляньте, какую муку нам на Козьем переулке отсыпали! — затараторил другой, хрипловатый и бойкий голос. — Прямо первый сорт, ей-богу! И дешевле, чем у прежних поставщиков!

— Спасибо, Семен, — ответила Мария, и в ее голосе прозвучала теплая искренность. — Заходи, щей отведай, таких и не пробовал никогда, да чайку попить. Устал, поди.

— Да я не прочь! — засмеялся тот, Семен, видимо, извозчик.

Так я и познакомился с ними заочно, по голосам. Молчаливый работник и болтливый извозчик. Оба, судя по тону хозяйки, свои люди, на которых можно положиться в быту.

Они вошли в трапезную, внося с собой запах дорожной пыли и свежего зерна. Иван — коренастый, с лицом, вырубленным из гранита, — лишь мельком, оценивающе скользнул по мне взглядом и прошел к умывальнику. Принял как факт, но доверия нет. Его лояльность — через хозяйку.

Семен же, сухопарый, жилистый, с хитрыми глазами, сразу оживился, увидев нового человека за столом.

— А, гость дорогой! — приподнял он картуз. — Семен, местный извозчик, к вашим услугам. Подвезти куда надо — мигом!

— Григорий Васильевич, — представился я коротко, кивнув в ответ. — Пока только обживаюсь.

— Обживайтесь, обживайтесь! Место у нас тихое, доброе! — Семен уселся за стол с видом заслуженного работника и тут же начал, как из ведра, выливать городские новости: кто что купил, кто продал, у кого пожар, у кого свадьба. Сплетник, но глазастый. Через него можно пустить нужный слух или получить информацию. Если подойти с умом. Он явно вхож и в город, и в местные слухи.

Вертлявая служанка — Груня, как я уже расслышал — была явно нервным центром всего бытового течения. Она и самовар подала, и Ивану рубаху сухую принесла, и детям про погоду в городе от Семена пересказывала. Через нее проходили все мелочи, все настроения. Барометр двора. И, возможно, источник обрывков информации. Ее доверие нужно завоевать через простоту и уважение.

И, наконец, повариха — Ульяна Потаповна, как окликнула ее Мария. Вышла из кухни, обвела трапезную тяжелым, оценивающим взглядом, уперла руки в бока. Ее взгляд скользнул по мне — не как по гостю, а как по потенциальной угрозе своему укладу. Царица кухни. Ее лояльность нельзя купить. Ее можно только заслужить уважением к ее ремеслу. Похвалой ее щам, например.

Вечерний чай пили уже при свете лучины. Дети, уставшие за день, клевали носами. Мария отправила их спать, сама осталась, доливая чай в стаканы. Разговор несся неспешный, о дорогах, о погоде, о ценах. Я вставлял редкие реплики, больше слушая.

«Старый Ям» оказался интереснее, чем я предполагал. Здесь не просто тихо. Здесь кипела жизнь, сопротивляясь давлению извне. И в центр этого кипения попадают обозы с завода. Не просто так. Этот двор — не случайная точка на карте. Он — узел. Здесь можно передохнуть, напоить лошадей, передать информацию… или груз. И все это под боком у женщины, которая борется за жизнь своего дома с кем-то, кто очень хочет этот дом отнять.

Просто из жадности? Или чтобы контролировать точку на своем маршруте?

Вопросы, вопросы… Завтра в городе начну с завода. Узнаю, кто им заправляет на бумаге, а кто — в тени. А пока… нужно, чтобы хозяйка привыкла к моему присутствию. Перестала видеть во мне только угрозу или только доход. Нужно выяснить про этот долг. Насколько он… законен. И насколько кредитор готов его использовать.

Я отпил последний глоток чая, встал. Вечером на крыльце было уже свежо, и я накинул сюртук на плечи.

— Благодарю за хлеб-соль, Мария Петровна. Пойду, воздухом перед сном подышу.

Она кивнула, подняв на меня глаза. В них уже было меньше первоначальной паники. Больше усталого внимания.

— Спите спокойно, Григорий Васильевич. Утро вечера мудренее.

«Вот именно, — подумал я, выходя на крыльцо в прохладный, звездный майский вечер. — Утро вечера мудренее. Посмотрим, что оно нам принесет».

Глава 9. Хит дня и ночные гости

Я вошла на кухню, когда самовар уже отбушевал свое и лишь попыхивал парком, сыто посапывая на краю стола. Ульяна Потаповна стояла у печи спиной и с таким остервенением мешала в чугунке, будто каша была ее личным врагом.

На мне еще держался холодок утреннего хлева, пальцы пахли парным молоком и влажной соломой. Зорька надоена, куры накормлены, грядка под редиску встретила солнце уже вскопанной. День только начинался, а я уже успела прожить его маленький, хозяйский кусочек.

— Доброе утро, Ульяна Потаповна, — кивнула я, закатывая рукава рубахи. — Как планы на день?

Она обернулась, окинула меня быстрым, цепким взглядом: от подола, еще мокрого от росы, до косы, сбившейся набок.

— Планы как планы, — буркнула она. — Гость наверху ночует, значит, завтрак подавать. Да проезжих кормить, коли явятся. Щи вчерашние разогрею, лепешек свежих напеку. Грибы вот... — кивок в сторону корзины, — тоже в щи пойдут или с картошкой потушу. Народ простой, им бы сытно.

— Насчет грибов… я другое придумала, — осторожно сказала я, подходя к столу, где в плетеной корзине лежали уже чистые, пахнущие хвоей сморчки и опята. — Сегодня сделаем по-новому. Удивим.

Ульяна Потаповна молчала. Я слышала, как потрескивают угли в печи, как за окном перекликаются петухи, как где-то далеко на тракте скрипит телега. А в голове, поверх ее тяжелого молчания, уже неслось, уже считало, прикидывало.

В дореволюционной России, куда меня угораздило попасть, жюльен уже не был абсолютной диковинкой для горожан. В ресторациях Крутогорска, поди, подавали те самые «консоме жульен» с кореньями соломкой, а то и грибы под соусом, ежели гость побогаче. Но для провинциального постоялого двора — это все еще редкость. А уж в таком исполнении: порционно, в горшочке, с сырной корочкой, которая плавится и тянется за ложкой… Это будет бомба.

Ульяна Потаповна замерла, половник застыл в воздухе. Ее круглое лицо под белоснежным платком стало пунцовым.

— По-новому? — голос ее зазвучал тихо и опасно. — Мария Петровна, нешто время эксперименты ставить? Грибы сварил, посолил, пожарил. Чего мудрить-то?

— А вот мудрить и будем, — не сдавалась я, ощущая внутри знакомый холодок расчета. Евгения уже видела цифры: бесплатный лесной продукт, немного сметаны, яйцо, кружка муки, и цена за порцию может быть втрое выше себестоимости. — Помните, говорила, что нужно выделяться? Чтобы про нас не «поел и забыл», а «поел и всем рассказал»?

— Выделяться… — она фыркнула, но в ее властных глазах мелькнуло любопытство. — Ну, и что за фокус такой?

Я глубоко вдохнула, чувствуя, как память Марии услужливо подсказывает расположение каждой утвари, а опыт Евгении рисует четкую картинку блюда.

— Горшочки есть небольшие, глиняные? — спросила я, уже роясь на полке под столом.

— Есть… — нехотя протянула Ульяна. — С покойным Михаилом Ивановичем для меду покупали. Давно пустуют.

— Отлично. Вот и пригодились.

Я достала четыре небольших горшочка, поставила их на стол. Ульяна смотрела, скрестив руки на груди, будто ждала фокусов скоморошьих.

— Грибы мелко режем, — начала я, беря нож. Пальцы сами легли на рукоять, движение было уверенным, отточенным. — Лук полукольцами. На сковороде кусочек сала растопим. Обжарим лук до прозрачности, потом грибы. Соль, перчик щепотку.

— Это я и сама знаю, — проворчала Ульяна, но уже подошла ближе.

— А дальше – соус, — продолжала я, чувствуя, как внутри растет азарт. — Ложку муки на сухой сковородке слегка подрумяним, чтоб ореховый запах пошел. Потом разводим горячим молоком, чтоб комков не было. Варим, помешивая, до загустения. Добавляем сметаны, еще пару минут и готово.

Ульяна молчала, но брови ее поползли к самому платку.

— Грибы с луком раскладываем по горшочкам, — я уже набирала темп, руки работали быстро, четко. — Сверху соус. А потом… — я сделала паузу для эффекта. — Тертый сыр. Горстку на каждый.

Тут Ульяна не выдержала.

— Сыр?! — вырвалось у нее с таким ужасом, будто я предложила вылить в горшки золотые червонцы. — Мария Петровна, с ума сошли? Сыр… он плавиться будет! Расплывется, пропадет добро! Да и дорого это, не по-крестьянски!

— Именно поэтому и понравится, — твердо сказала я, уже натирая кусок твердого сыра, который чудом сохранился в погребе. — Не по-крестьянски. Значит, по-барски. А кто из проезжих не хочет почувствовать себя барином хоть за обедом?

— Да откуда вы такое знаете-то? — в ее голосе прозвучало уже не раздражение, а недоумение. — Никогда вас на кухне, прости господи, не видать было. Разве что щи помешать. А тут соусы, сыры…

Сердце екнуло. Опасность. Вопрос прямой, в лоб. Память Марии метнулась в поисках ответа, но Евгения уже выстроила защиту.

— С Михаилом в город ездили, помните? — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал естественно. — В трактире одном подавали. Я тогда с кухаркой их разговорилась, она и рассказала, по секрету. Говорила, господа обожают. А я запомнила.

Ложь легла гладко. Ульяна промычала что-то невнятное, но в ее глазах загорелся тот самый профессиональный азарт. Вызов принят.

— Ну, раз запомнили… — она сдалась, махнув рукой. — Давайте, показывайте дальше. Только чтоб зря продукт не переводить. Одним горшочком ограничимся, для пробы.

— Давайте, — согласилась я, скрывая улыбку.

Мы работали вместе: сначала настороженно, потом все слаженней. Я показывала, она повторяла, ворча, но делая все тщательно. Когда горшочек отправился в печь, на раскаленные угли, Ульяна не отходила от заслонки, будто ждала, что блюдо взорвется.

А тем временем двор оживал.

Черкасов, уже одетый в свой безупречный сюртук, спустился в трапезную, выпил чаю — сухо, сосредоточенно, глядя в одну точку. Поставил стакан, поднял глаза.

— Можно Орлика на сегодня? В Крутогорск нужно, по делам. Отдельно оплачу, разумеется.

— Можно, — кивнула я. — Федька уже почистил, седлать будет.

Он кивнул, уже поднимаясь, и тут замер. Повел носом, едва заметно, будто невзначай.

— А пахнет у вас… грибами? — спросил осторожно. — Или это сыр?

Я улыбнулась.

— Грибы по-особенному. В горшочке, под сырной корочкой. Жюльеном называется.

Он приподнял бровь.

— Затейливо. Не слыхал о таком блюде.

— Заморское кушанье, — ответила я просто. — К вашему возвращению порцию оставлю.

Он посмотрел на меня быстро, цепко, и в темных его глазах мелькнуло что-то, похожее на улыбку. Но губы даже не дрогнули.

— Буду должен, — сказал коротко.

Положил на стол монету: не медяк, серебряный двугривенный. Щедро. И вышел, оставив после себя легкий запах мыла, утренней свежести и… да, тайны. От нее никуда не деться.

— Седлай, Федька! — крикнула я в раскрытую дверь. — Орлика гостю!

И вернулась к печи, к грибам, к сыру.

За окном уже вовсю золотилось солнце, Федька гремел ведрами у конюшни, Алеша с корзинкой наперевес шмыгнул в сторону леса.

Иван, как велено было, взялся за дело сразу после завтрака. Обошел двор, прикинул, где что просело, где доска отошла. А к вечеру собирался на реку пойти: «Рыба нынче, говорят, пошла. Вернусь затемно, ежели улов будет».

День набирал обороты. А в кухне случилось чудо.

Когда я вынула горшочек из печи и поставила его на стол, Ульяна ахнула. Сверху была румяная, пузырящаяся сырная корочка, из-под которой валил густой, сливочно-грибной пар.

— Господи помилуй… — прошептала она. — И впрямь красиво.

Я аккуратно ложкой пробила корочку. Под ней был густой, ароматный соус с кусочками грибов.

— Попробуйте, Ульяна Потаповна.

Она взяла ложку, зачерпнула, поднесла ко рту. Подула. Откусила. И замерла. Глаза ее, обычно строгие, стали круглыми.

— Мать честная… — выдохнула она. — Такое… И грибы чувствуются, и соус этот… сливочный… и сыр сверху хрустит… Барское кушанье, ей-богу.

— Вот и отлично, — улыбнулась я, чувствуя прилив гордости. — Значит, будем делать. Сколько горшочков свободных?

К полудню на тракте закипело движение. Сперва заехал мелкий купец, торгующий льном: краснолицый, шумный, с двумя подручными. Потом пара извозчиков, везущих какой-то груз в город. Потом чиновник низшего ранга, спешивший по казенной надобности.

Щи и лепешки уходили на ура. Но когда я, уже с хозяйственной уверенностью, предложила «особое блюдо, порционное, как у графов в имении», народ заинтересовался.

Купец, потрепанный дорогой, сначала фыркнул:

— Что за диковинка? Горшочек махонький…

Но когда перед ним поставили личный, дымящийся горшочек с румяной крышкой из сыра, он смолк. Понюхал. Попробовал. И глаза его заблестели.

— А это да… — сказал он, уже через минуту вылизывая ложку. — Это сильно. Пахнет так, что дух захватывает. И своя порция, чисто, опрятно… Не ожидал в таком захолустье.

Он съел все до крошки, попросил хлеба доесть соус, и, уезжая, громко сказал подручному:

— Запоминай, Степка! «Старый Ям»! Здесь кормят по-барски, ей-богу!

Это было лучше любой рекламы.

К вечеру мы продали одиннадцать порций. Двенадцатую я отставила, прикрытую чистым полотенцем. Черкасову. Обещала ведь.

Алеша, сияя, вернулся из леса с полной корзиной грибов.

— Завтра еще наберу, мама! Там целая поляна!

Я притянула его за плечи, чмокнула в макушку. Волосы пахли хвоей, потом и счастьем.

— Умница ты моя, полководец. Без тебя бы не справились. Садись-ка, остыло уже, поди?

Он только кивнул и в момент умял свежую лепешку с молоком, сияя поверх кружки так, будто не грибы собирал, а клад откопал.

А Танюшка с утра пристала к Груне: «Я помогать буду». И весь день крутилась у корыта: стирка нынче выдалась большая. Груня полоскала, отжимала, а Танюшка подавала ей мокрое белье и стояла рядом, пока Груня развешивала на веревку. Прищепки держала наготове, в подоле фартучка.

А под вечер, когда Груня устало опустилась на лавку, Танюшка сама принесла ей крынку с молоком: обеими руками, боясь расплескать.

— Тетя Груня, пейте, — сказала строго. — Вы устали.

Груня всплеснула руками, расцеловала ее в обе щеки. Я смотрела и думала: вот они, мои настоящие активы. Не грибы, не выручка. Они.

Ульяна Потаповна к концу дня уже не ворчала. Она молча мыла горшочки, но в уголках ее губ дрожала едва заметная улыбка. Когда последний гость уехал, она сказала, глядя в печь:

— Ну что ж… народ ест. Завтра еще наготовить, что ли?

— Обязательно, — кивнула я, чувствуя усталость, но и странную, теплую радость. — Только сыра нужно будет прикупить. И яиц.

— Прикупим, — коротко бросила она, и в этом «прикупим» было больше доверия, чем в любых клятвах.

Вечер спустился тихий, теплый. Смеркалось. Черкасов еще не вернулся. Иван задержался на реке. Алеша сбегал к нему, отнес ужин, вернулся с сообщением: «Дядя говорит, рыба хорошо клюет, большой улов будет. К ночи только вернется».

Двор затих. Гости разъехались. Я уложила Танюшку спать. Груня и Ульяна ушли к себе. Федька, изможденный, но с непривычной гордостью в глазах, удалился в свою каморку над конюшней. На кухне остался только Алеша, который клевал носом за столом, но не хотел уходить, пока мама не пойдет.

Я вышла на крыльцо, смотрела на темнеющий лес, слушала, как с тракта доносятся редкие звуки: скрип телеги, окрик погонщика. Черкасов все не возвращался, Иван задерживался на реке.

И вдруг… почудилось.

Не с тракта. Со стороны леса. Голоса. Негромкие, приглушенные. Мужские. И смех такой недобрый, хищный.

Сердце замерло, потом заколотилось с такой силой, что в ушах загудело. Память Марии метнулась вперед, подсовывая обрывок угрозы Рогожина: «Я людей своих кругом расставлю, Машка. Приглядывать будут. Жди».

А двор пуст. Черкасов в городе. Иван на реке. Федька спит, да и что с него взять, молод еще. Я одна. С детьми. Да неповоротливая кухарка с Груней.

Я вскочила, впилась пальцами в косяк двери. В темноте между деревьями что-то шевельнулось. Мелькнул огонек: то ли светляк, то ли кончик зажженной трубки.

«Что делать? — пронеслось в голове панически. — Запереть дом? Поднять всех?»

Но если это просто бродяги? Если я подниму панику зря?

Я сделала шаг назад. Голоса приблизились. Теперь я различала слова:

— А баба-то что? Сопротивляться будет?

— Куда ей… Одна, с ребятней…

Холодный пот выступил на спине. Это они. Рогожинские.

Я отшатнулась в темные сени, прижалась спиной к холодной стене. Страх, дикий, животный, гудел в ушах. Но сквозь него пробивался тонкий, холодный голос Евгении:

«Не сейчас. Не дай страху себя сожрать. Думай. Действуй.»

Куда бежать? Кто поможет? Иван далеко. Черкасов… неизвестно где. Федька… не воин.

Руки сами, без команды, нашарили тяжелый брус засова. Дернули. Он со стоном лег в кованые петли.

Голоса затихли, будто люди остановились, прислушиваясь. Потом послышался шелест шагов по сухой траве. Они обходили дом. Осматривали. Вынюхивали.

Я медленно, бесшумно привалилась к стене, прижала ладонь ко рту, чтобы не вырвался стон. Из темноты кухни на меня смотрели широкие, испуганные глаза Алеши. Он все слышал.

— Мама… мне страшно, — прошептал он.

Я шагнула к нему. Один шаг. Второй.

— Тихо, родной, тихо, — шепнула одними губами, прижимая его голову к себе. — Я здесь. Я никуда не уйду.

Рука сама метнулась к столу, нашарила тяжелое, привычное. Нож для резки хлеба — широкое лезвие, деревянная рукоять, отполированная ладонями до темного блеска.

Я заслонила собой Алешу, сжала рукоять так, что костяшки побелели. И стала ждать…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.